



РУССКАЯ ЗАБЫТАЯ ЛИТЕРАТУРА

Александр Федоров
Королева

РАССКАЗЫ

Фонарь

Александр Митрофанович Федоров

Королева
(Русская забытая литература)

Александр Митрофанович Федоров (1868–1949) — русский прозаик, поэт, драматург.

Сборник рассказов «Королева», 1910 г.

Содержание

#1	0006
Королева	0007
I	0007
II	0039
III	0064
IV	0093
V	0123
VI	0155
Чудо	0178
I	0178
II	0181
III	0184
IV	0190
Птицелов	0200
I	0200
II	0206
Любовь и смерть	0218
Феномен	0234
Змеи	0256
I	0256
II	0264
Чиновник	0271
I	0271
II	0273
III	0275

IV	.0278
V	.0281
VI	.0287
VII	.0289
VIII	.0290
IX	.0297
Коллега	.0299
I	.0299
II	.0306
III	.0314
Любовь	.0317
I	.0317
II	.0321
III	.0324
IV	.0327
V	.0331
VI	.0336
VII	.0338
Стихи	.0340

**Александр Федоров
Королева**

Рассказы

Королева

I

Ясным августовским утром по кладбищу невидного губернского города бродила бабышня лет восемнадцати-девятнадцати и с нею юноша, года на полтора моложе её, но казавшийся совсем мальчиком перед нею.

Она была довольно высока ростом, и в её ещё не вполне налившейся тонкой фигуре сказывалась грация, зыбкость и нежность, по которым сразу можно отличить девушку от женщины. И в походке её, и в том, как она держала слегка склонённой направо голову с пышными белокурыми волосами, принимавшими на солнце золотисто-рыжеватый оттенок — во всём сквозила благородная прелесть, свойственная натурам, ещё нетронутым. Тонкий контур лица был очерчен нежно и отличался редкой правильностью. Такой же правильностью поражали линии носа и лба, в сочетании своём напоминавшие верхнюю половину лица сфинкса. Глаза её были голу-

бовато-серые, безо всякого блеска, но с таким чистым хрусталиком, как будто его никогда не мутили слёзы. И всё же в этих глазах да в строгом очерке губ можно было, взглядевшись пристальнее, заметить что-то глубоко-затаённое, загадочное, властное и внушавшее невольное поклонение. Недаром кто-то, полушутя, назвал её королевой, и с тех пор так её звали все, кому разрешалась эта почтительная фамильярность.

Одета была королева просто, даже бедновато, в английского фасона кофточку, едва ли не домашней работы, мужские воротнички и длинный красный галстук. Красная же, в тон галстука, юбка слишком плотно охватывала узкие бедра и заставляла предполагать, что ей пришлось уже побывать в переделке. Но и на самый этот неизысканный костюм распространялось обаяние её красоты и свежести.

Она тихо брела проторённой тропинкой среди могил, крестов и памятников, иногда задевая их тонкой тросточкой с серебряной загнутой ручкой, которую, по-видимому, взяла у своего спутника, только что окончившего курс реалиста Серёжи Кашнева. Он то шёл

рядом с ней, когда позволяла тропинка, то старался попасть за нею на её следы. Был он немного неуклюж, вернее, неловок в движениях, как подросток, ещё не овладевший своими манерами, хотя довольно строен и правильно сложен. Лицо у него было веснушчатое, с пухлым ртом и немного мясистым носом, подбородок слегка раздвоенный, и глаза карие, близорукие, добрые и взглядчивые. Он шёл, вертя в руках фуражку и с удовольствием чувствуя иногда, как ветер шевелит его мягкие слегка вьющиеся волосы.

Они редко обменивались фразами. Очевидно, на обоих действовала обычная кладбищенская тишина, такая всегда многозначительная и покоряющая, а в это тихое осеннее утро полная особенно ясно выраженным настроением величавой, всепримиряющей покорности и кроткой, притягательной грусти. Всё здесь, начиная от примятой кое-где уже не свежей травы, редких поникших деревьев и кустарников и кончая крестами, камнями и памятниками, всё как будто понимало, где оно растёт и что собою украшает, и потому всё было проникнуто одним и тем же настро-

ением, — мало того, всё по-своему как бы дополняло его и вносило в него свои собственные тонкие черты, заметно усложнявшие общую гармонию. Даже птицы здесь пели как будто не так, как везде, точно это были специально кладбищенские птицы, а не те, что летают на свободе, в цветущих полях и весело шумящих лесах.

— И что у вас, королева, за страсть к кладбищу? — немного испугавшись ящерицы, скользнувшей почти из-под самых ног его и принятой им за змею, сказал юноша, начав с высокой, почти детской ноты и кончая неестественно низким басом, для которого ему пришлось даже опустить подбородок.

— Паж мой, вы ничего в таком случае не понимаете, — ответила она ровным и таким же чистым, как и её лицо, голосом и оглянулась на него.

— Да тут нечего и понимать, королева. Мертвечина, одно слово, и больше ничего.

— Паж мой, вы никогда в таком случае не будете настоящим скульптором, хотя у вас есть талант и вы едете в академию.

— Это почему, королева?

— Потому, мой паж, что вы не понимаете и не чувствуете особенной красоты этого настроения...

— Да где оно, это настроение-то?

— Как где? Да в самом воздухе, паж.

— Ну, а по-моему, королева, в воздухе только мертвецами тут пахнет. Тлением... Смертью... Здесь и самые цветы-то и растения покойниками продушились.

— Фи, какие вы гадости говорите, — не выдержала она своего насмешливо-снисходительного тона, но не могла не улыбнуться его словам, сказанным с искренним, убеждением.

Ободрённый этой улыбкой, он продолжал, желая сказать нечто внушительное по своей серьёзности:

— Красота только там, где жизнь, где радость... А тут печаль и смерть. Какая же тут красота?

— Во-первых, я говорю не о внешней красоте, а, во-вторых, в печали больше красоты, чем в радости, потому что печаль чаще всего благородна и возвышенна по существу, а радость, наоборот, вульгарна, и, в-третьих,

смерть — понятие условное... Так-то, мой паж! — снова впадая в снисходительно-насмешливый тон, закончила королева.

— Хороша условность, смерть... Нет, уж коли зарыли человека, да камешком ещё припечатали, так какая тут условность!

Она улыбнулась одним левым уголком губ на эту детскую фразу и пошла дальше, задев по пути концом тросточки истлевший от солнца, ветра, дождей и времени на деревянном кресте венок, который сразу осыпался.

— Я, как скульптор, по натуре грек, потому — жизнерадостен. Мне подавай пластические формы...

Он вытянул свои красивые руки и левой помял фуражку, а правой как бы ощупывал эти формы, но, тотчас почувствовав, что это не что иное, как фраза, и, что королевы этим не убедишь, совсем уж другим, простодушным тоном, искренно и немного как будто конфузясь чего-то, прибавил:

— А, ей Богу, не знаю почему, я вот не люблю кладбищ! Мне даже как будто немножко жутко здесь.

Он засмеялся коротким смехом и взглянул

сначала на неё, а потом оглянулся вокруг, точно сам удивляясь такому обстоятельству и ища здесь его разгадки. Направо от дорожки он увидел двух рабочих, которые рыли могилу. Землю, чёрную сверху и бурую и глинистую глубже, они выбрасывали, и по мере того, как могила углублялась, вырастал рядом холмик. На Серёжу эта картина почему-то произвела крайне неприятное впечатление. Даже ему показалось, что он видит её не в действительности. Он слегка побледнел от неожиданности, и захотелось поскорее уйти отсюда, оставить, не оглядываясь, кладбище.

Несмело взглянул на тихо бредущую впереди королеву точно боясь, что она догадается о его чувствах, и вместе с тем втайне желая этого. Он с нежностью охватил глазами всю её фигуру и остановился на шее с такой нежной кожей, которая бывает только у детей. Розовые маленькие раковины её ушей были закрыты почти совсем густыми и мягкими волосами, поднятыми кверху толстым узлом и нежно пушившимися внизу. Ему мальчишески захотелось подойти к ней и поцеловать в шею между этими золотившимися волосами,

а затем без оглядки пуститься бежать домой и тотчас же уехать в Петербург, не дожидаясь завтрашнего дня. Как раз в эту минуту, может быть, почувствовав на себе его пристальный взгляд, она обернулась, и он, застигнутый врасплох на этих преступных мыслях, покраснел.

Ему показалась, что она взглянула на него и всё поняла.

Он покраснел ещё больше и тотчас же сам рассердился на себя за это смущение, тем более, что она, как ни в чем не бывало, обратилась к нему:

— Пойдёмте к ним, мой паж.

— Зачем?

— Что за вопрос? Затем, что вас зовёт королева.

Они подошли к могильщикам.

Один из могильщиков был кривой, низенький, с заячьей губой, другой — повыше, с опухшим мрачным лицом, должно быть, горький пьяница.

— Здравствуйте, господа! — приветствовала их Зоя.

— Здравствуйте! — отозвался кривой, весе-

ло мигнув своим зрячим глазом, и, отерев пот с лица, не без картинности опёрся на лопату, достал из кармана табак в бумажке и принялся вертеть сигарку. Его мрачный товарищ, едва взглянув исподлобья, буркнул что-то и продолжал начатую работу.

— Могилу роете?

— Могилу-с... Так сказать, вечное прибежище. Помещичью усадьбу с землевладением...

И могильщик лукаво подмигнул глазом.

Зоя улыбнулась и взглянула на своего спутника.

— А не знаете, для кого могила?

— Надо полагать, что для упокойника. А визитной карточки своей он мне не прислал...

— Точи лясы-то! Я за тебя, что ли, буду работать? — хрипло оборвал его товарищ и, протянув свою грязную лапу за остатком его папиросы, сунул её себе в рот, заросший волосами.

— Вы могильщики? — не оставляла своих вопросов Зоя Дмитриевна.

— Нет, — ответил тот же кривой, поплевав в руки. — Мы по найму.

— А кто же вы такие?

— Мы-то?.. — Кривой расхохотался и взглянул на товарища. — Мы люди вольные... Вольные птицы из босой станицы.

— Что ж, вы покойниками только и живёте?

— Нет, зачем... — нагло расхохотался кривой. — Случается, и на счёт живых пробавляемся.

Серёжа, взглянул на них не без тревоги. Прежде чем кривой отрекомендовался, он уже видел, из какой «станицы» эти люди, и ему было неприятно, что королева с ними разговаривает. Он даже слегка побаивался, что вот-вот они скажут или сделают что-нибудь, если не опасное, то оскорбительное для неё. Вокруг было так пустынно и хмуро... Церковь и сторожка, где жил звонарь, он же караульщик, были довольно далеко. Оборванцы могли свободно обогнуть их и если они этого не делали, то, по мнению Серёжи, только потому, что видели, что игра не стоит свеч, а во все не из чувства благородства и смирения. Но, всё же немного побаиваясь их, он вместе с тем тайно желал, чтобы случилось что-ни-

будь подобное, чтобы на её глазах он мог защитить её и, если нужно, даже умереть для неё.

«Милая! Милая!.. Люблю!» — со страстною нежностью мысленно повторял он, любуясь её головой и фигурой, и несмотря на то, что, стоя сзади, не видел её лица, он угадывал каждую минуту выражение по её голосу, по самым слабым движениям её. И ему было приятно так любоваться ею и мысленно ласкать её, зная, что она и не подозревает ничего подобного.

Могильщики продолжали своё дело... Зоя подошла поближе и взглянула в углубление, откуда на неё пахнуло затхлой сыростью. За ней подошёл и Кашнев и тоже заглянул туда, — заглянул, и ему снова стало тяжело и чего-то страшно. Ему казалось, могила тянет его к себе.

Он быстро отвёл глаза от ямы, не понимая, что с ним такое делается, и это странное чувство так охватило его, что он даже вздрогнул, когда королева, обернувшись, сказала ему как-то нерешительно и вдумчиво:

— Не странно ли? Вот в этой: яме сейчас

живой человек, и роет он могилу для мертвеца, а завтра, может быть, будут рыть могилу для него самого... Но сегодня он об этом не думает, а думает о том, как получит за свою работу гроши и пропьёт их. И это жизнь?.. Тут что-то не то...

Пожав как-то по-детски плечами, она взглянула задумчиво в лицо юноши и тотчас же, очнувшись от своих туманных мыслей, быстро спросила его:

— Что с вами?.. У вас такие глаза...

— Какие?

— Не ваши... Точно вы что-то увидели перед собою.

— Н-нет... Ничего...

Слабая искорка мелькнула у него в памяти и погасла, осветив что-то далёкое, смутное.

— Скажите, — обратился он к барышне, — бывает с вами так, что вы что-нибудь видите перед собою, и вдруг с поразительной ясностью вам вспоминается, что вы то же самое видели когда-то давно-давно... Бог знает, где и как... Может быть, даже во сне...

Она молча на него глядела, изумлённая несколько новым для неё выражением его

лица.

— И не то, чтобы это было что-нибудь важное... Нет, часто какой-нибудь пустяк, мелочь... И ведь отлично знаешь, что никогда ничего подобного не видел, и тем более поражает самый факт

— Да, да... Это со мной бывает, — подтвердила она, чувствуя, что его волнение заражает и её. — Именно так, как вы говорите. Но что вам припомнилось?

— Гм... — неестественно усмехался он. — Смешно... Мне кажется, что я уж видел вот этих могильщиков, и как они роют эту яму, и как я гляжу в неё, и всё... всё... даже вот эту землю!

Он ткнул ногой в выброшенную из могилы землю и слегка запачкал себе глиной сапог.

— Королева, — с напускной бодростью обратился он к барышне, как бы стыдясь того, что ему приходит в голову, и готовый на всякий случай обратить свои слова в шутку, — верите вы в предчувствия?

— Д-да... Пожалуй... Я во всё верю... Ведь, в сущности, мы ничего не знаем, и потому я ве-

рю...

— Ах, как я рад! Или нет, не рад, а скорее мне страшно...

— Чего страшно?

— Предчувствия. Мне кажется, что я скоро должен умереть.

— Какие глупости! И давно вам такой вздор пришёл в голову?

— Сегодня... Сейчас...

— Вы нервничаете... Вам, действительно, не следует ходить на кладбище. Мне вот тоже на кладбище приходят в голову разные мысли, но из-за них-то я и хожу сюда; эти мысли я люблю, как любят тех, вместе с которыми мы много думали. Меньше всего меня пугает здесь смерть, наоборот, когда у меня есть горе, я прихожу сюда, и оно кажется таким маленьким перед этим безмолвным итогом.

— Вы думаете, я боюсь смерти, и оттого мне здесь неприятно?.. Я не боюсь её, а она мне противна, потому что некрасива. Вот если бы смерть явилась ко мне в вашем образе, — слегка покраснев, не сразу прибавил он, — тогда бы я был рад ей.

— Перестаньте болтать пустяки, паж.

— Я бы хотел вылепить вас, как вот вы есть, высечь из мрамора и поставить над моей могилой в виде памятника, — быстро выпалил он с отчаянной решимостью и до того после этого сам взволновался и сконфузился, что от прилива краски к его лицу на глазах у него выступили слёзы.

— Вот вас, действительно, после этого следовало бы высечь, только не из мрамора, — с шуточной строгостью остановила его королева.

Он обиделся, но не тем, что она сказала этот плохой каламбур, а более неприятным ему обстоятельством. Ревнивое чувство зашевелилось в нём.

— Это вы повторяете Алексея Алексеевича, — пробормотал он с укором.

Алексей Алексеевич был старший брат Серёжи, местный губернский архитектор. У него Серёжа гостил с самого начала мая вместе со старухой матерью.

Теперь настал её черёд покраснеть, и это ещё больше придавало дерзости Серёже. Он с горечью, поднимавшей из груди слёзы, продолжал:

— Вообще, не я один заметил, что вы часто повторяете его слова и впадаете в его тон... Курчаев то же говорит...

— Ну, что ж из того?

Серёжа отвёл глаза в сторону, упрямо глядя в одну точку, и ничего не ответил. Но сердце его сжималось и слёзы всё настойчивее поднимались к горлу.

— Если бы Курчаев был такой же умный и остроумный человек, как ваш брат, тогда бы я, вероятно, повторяла его слова, — уже с некоторою небрежностью продолжала Зоя Дмитриевна, подвигаясь вперёд по тропинке к выходу и по-мужски вертя на ходу палочку в своих загорелых без перчаток пальцах.

— И вовсе это не потому, — с горьким упорством чуть слышно произнёс Серёжа, снова понуро следуя за нею.

Они уже порядочно отошли от могильщиков, которые оба теперь опустились в яму по плечи, и откуда на поверхность только вылетала с лёгким шумом земля, образуя всё выше растущую насыпь, чтобы уступить место тому, кто был взят из неё.

Зоя остановилась и с гордым движением

головы обернулась к Серёже.

— Почему, мой паж?

— Вы сами знаете, почему, — ещё тише прошептал он, не поднимал на неё глаз и вертя в руках фуражку. Тоска из сердца разлилась у него по всему телу, и слёзы, как горькое жало, впивались ещё ощутительнее в горло.

Несколько шагов они сделали молча. Могила, с уходившими всё глубже и глубже в землю рабочими, скрылась за памятниками, крестами и жидкими деревьями с начинающей уже тускнеть к осени листвою, среди которой кое-где пробивалась лёгкая желтизна и блеклость. Особенно это было заметно на кустах сирени, заботливыми руками посаженной возле некоторых могил.

Она хотела строго оборвать Серёжу за эту дерзость, но именно потому, что Серёжа был его брат, ей даже нравилось говорить о нём, поминать его имя, и потому она ограничилась только одной фразой, произнесённой медленно и печально:

— Перестаньте глупости болтать, мой милый паж.

— Нет, не глупости, — нервно вырвалось у Серёжи. — Если бы мне это одному казалось, тогда так; а то, говорю вам, это и другие замечают... Курчаев, Марья Петровна... Маркевич...

В лице Зои отразилось заметное беспокойство, которого не могла скрыть даже презрительная гримаса губ.

— Какая пошлость! — сказала она и затем не сразу прибавила с высокомерным выражением лица: — Положим, мне всё равно, что бы они там ни говорили. А вам я не советую передавать мне подобные сплетни.

Серёжа слегка побледнел и гордо ответил:

— Я вам никаких сплетен и не передаю. Я не слышал ничего такого, что они бы говорили о вас и... и об Алексее... Алексее Алексеевиче... — Он с некоторого времени стал звать брата по имени и отчеству. — А если бы и говорили, так я бы...

— Как же, вы сами сказали, Курчаев...

— Что же я сказал? — загорячился Серёжа. — Курчаев находит, что вы повторяете некоторые слова брата и впадаете в его тон... Я, буквально, не говорил ничего другого...

— Ну, положим, я знаю, Курчаев...

Она не договорила, пожала опять также по-детски плечами, но Серёжа понял её и закончил эту мысль по-своему:

— Положим, Курчаев влюблён в вас, но... Но всё-таки он ничего не говорит такого...

— Так откуда же вы взяли это, если никто ничего подобного не говорил?

Серёжа почувствовал себя униженным. Уже не подозревает ли она, что он сам сочиняет сплетню? Ко всей его горечи прибавилось ещё новое обидное чувство оскорблённого самолюбия.

— Откуда?.. Да разве этого не видно... Это и слепой увидит.

Зоя сжала обеими руками тросточку и едва не сломала её...

— Послушайте, милый мой паж, — внушительно обратилась она к Серёже. — Я вас прошу никогда не возбуждать подобных разговоров. Вы ещё мальчик, ребёнок, и потому... подобный вздор... подобный чувства... интересы... — затруднялась она выразить свою мысль, — должны быть чужды вам... То есть, вы не должны интересоваться всем этим

вздором.

— Опоздали! — почти с отчаянием возразил он и хотел засмеяться саркастическим смехом, но уж слишком больно его задела за живое, и потому вместо смеха у него вырвались только какие-то неестественные междометия.

Зоя изумлённо открыла на него глаза.

— Что такое?!

— Мне семнадцать лет... Я не ребёнок... — бледный и с дрожавшими от волнения сухими губами начал он, весь выпрямившись, и в эту минуту действительно показался ей сразу как будто выросшим, а голос его, похожий на голос брата, зазвучал недетскими нотами. — Я всё вижу, всё знаю, всё понимаю и чувствую, может быть, сильнее и глубже других... Да!.. А что я ещё не кончил курса академии что я ещё не самостоятелен, так это не важность... и не в этом дело... Каких-нибудь три-четыре года ещё ничего не значат... Вы ведь тоже немного старше меня. Мы почти ровесники! — совсем уж по-детски закончил он, дрожа всем телом и сверкая своими карими глазами.

Зоя Дмитриевна не выдержала и звонко рассмеялась после этого неожиданного заключения.

Серёжа сначала опешил от её смеха, который вонзался в его сердце, как острые иглы, и, всколыхнув в груди накипавшие слёзы, поднял их к самым глазам.

Он всеми силами старался удержать их — и не мог... Плечи его шевельнулись. Тогда он быстро отвернулся, чувствуя дрожь и слабость в ногах, и, схватившись обеими руками за соседний большой деревянный крест, уронил на руки голову и зарыдал.

Она порывисто приблизилась к нему и, положив левую руку ему на плечо и стараясь заглянуть в лицо его, прильнувшее к сложенным на кресте рукам, растерянно говорила, повторяя одни и те же слова:

— Серёжа... Голубчик... Милый... Что с вами?..

Но её прикосновение, её ласковый и испуганный голос ещё более открывали дорогу слезам, и рыдания стали сильнее...

— Ах ты, Господи! И ведь воды-то близко нет... — ещё более растерявшись, говорила

она, озираясь вокруг и не зная, что ей делать. — Ну, успокойтесь же, успокойтесь... Я не понимаю, отчего это... Что с вами?.. Я вас обидела... Простите... Ну же, довольно... Ведь вы не ребёнок — уговаривала она его, забыв, что минуту назад старалась уверить его именно в том, что он ребёнок.

Она тормозила при этом его за плечо и хотела, чтобы он поднял голову и перестал плакать.

— Ну, полно же, милый мой, паж мой... Королева рассердится... Перестаньте плакать... Вот вам платок... Вытрите слёзы... Или я вам сама вытру... Ну хотите?

Она достала из кармана платок, от которого отделялся аромат фиалок, и поднесла его к самому лицу Серёжи.

Знакомые духи приятно пахнули на него и сразу придали ему некоторую бодрость. Но Серёже так хотелось плакать, что он не без сожаления почувствовал, что рыдания стихают в его груди и иссякают так обильно струившиеся слёзы. Он был бы счастлив хоть всегда находиться в таком состоянии, только бы слышать её ласковый голос, ощущать её бли-

зость, нежное прикосновение руки и этот аромат, который он так привык связывать с представлением о ней.

— Вот там скамеечка. Пойдёмте, сядем там, — уговаривала его она, дружески завладев его рукою.

Он повиновался и, отвернув в сторону своё лицо, чтобы она не заметила, как оно некрасиво с покрасневшими и опухшими от слёз глазами и даже носом, прикладывал левой рукой к лицу тонкий душистый платок, который освежал его и нежил, как её прикосновение. Рыдания затихали, подавляемые в груди.

Они сели на скамеечку около неогороженного памятника в виде большого довольно грубо отёсанного камня, и некоторое время оба молчали.

Последняя слеза неохотно выкатилась у него из глаз. Волнение стихало, и он глубоко и тяжело вздохнул.

— Какой вы, однако, нервный! — неодобрительно покачивая головой, проговорила королева.

Он ответил ей жалкой улыбкой.

Настала неловкая пауза. Он мял в руках её

платок, смоченный слезами, а она машинально читала надпись на гробовом камне.

— Смотрите! — обрадовалась она, думая, что это развлечёт его и разрушит неловкую паузу. — Вот курьёзная надпись. Я её прежде не замечала.

Она не могла не рассмеяться указывая на эпитафию.

Под титлами, обозначавшими имя и фамилию, а также год и день рождения и смерти покойника, красовались следующие строки:

От благородной супруги любимому супругу:

Спи мирный, спи тихий...

Сии стихи писал монах Евтихий.

Серёжа машинально пробежал глазами эту эпитафию и улыбнулся.

— Ну, вот... Я очень рада, что мой паж улыбнулся. Теперь я со спокойной совестью могу отпустить его домой и даже благословить на дорогу.

— Как! Разве мы больше не увидимся?

— Но ведь вы завтра уезжаете рано утром?

— А сегодня? Я думал, что вы сегодня согласитесь в последний раз поехать на лод-

ке? — умоляюще выговорил Серёжа.

Она немного подумала.

— А кто поедет?

У Серёжи была слабая надежда, что она согласится поехать с ним вдвоём, но он после только что происшедшей сцены не решился просить её об этом и с грустью промолвил:

— По обыкновению, Курчаев, Ольга, Маркевич.

Она ощипывала сорванный ею листочек сирени и сквозь зубы, с неестественной небрежностью, спросила:

— А ваш брат?

Серёжа опять изменился в лице и не без злорадства ответил:

— Он условился сегодня ехать с другой компанией.

— С какой?

— Зорины, Парусинова, Марья Петровна и ещё кто-то.

При последнем имени палка в руке Зои дрогнула и смутное облако сразу покрыло её лицо.

Серёжа с горьким чувством страдания и ревности искоса наблюдал за происшедшей

переменной в её лице.

— Вот как! — вырвалось у неё вслух восклицание, как невольная угроза кому-то. — Хорошо!

Она сама не знала, что собственно выражает её угроза и по какому адресу она направлена: по адресу старшего Кашнева, или Марья Петровны Можаровой. Казалось какие-то не совсем чистые ключи забили у неё в сердце и мгновенно замутили целомудренную ясность её глаз.

Однако она тотчас же спохватилась и с притворным равнодушием обратилась к Серёже, стараясь глядеть на него открытыми глазами, чтобы уничтожить всякое подозрение в искренности своих слов.

— Ах, какая жалость! А нельзя ли как-нибудь уговорить его ехать с нами? Мне так хочется досадить этой сплетнице, противной Марье Петровне. А, главное, этим я докажу всем им, как мало дорожу их мнением обо мне и какая во всех их подозрениях заключена низость.

Но она ещё не докончила этой фразы, как Серёже стало стыдно за её ложь и даже жаль

её.

И она поняла, что он понял её ложь, и это доставило ей странное облегчение.

Тем не менее, не глядя на королеву, паж ответил:

— Вряд ли он согласится... Кажется, он дал слово той компании.

— А я не хотела бы уступать без боя... Разве написать ему письмо, чтобы он ехал с нами? — как бы вслух советуясь сама с собою и в то же время обдумывая что-то, с упорством стояла она на своём.

— Знаете что, мой паж, — принуждённо обратилась она к Серёже, — я напишу ему маленькую записочку от себя... У вас ведь есть с собой бумага... записная книжка?

— Записная книжка есть.

— И карандаш есть? Отлично, — принимая у него кожаную изящную золотообрезную книжечку со вставленным в неё карандашом, продолжала Зоя. — Жаль вырывать отсюда листки...

— Ничего, — грустно вымолвил Серёжа.

— Я только один листочек. Будет вполне достаточно. Писать много не придётся...

Она раскрыла книжечку и невольно прочла вслух там, где открыла:

— «13 мая 189...года...» Это что за знаменательный день у вас, да ещё так сильно подчеркнутый? Именины ваши, что ли?

Серёжа густо покраснел и, кривя губы в жалкую улыбку, ответил:

— Нет, это день, когда я в первый раз встретился с вами. Прошу вас, не смотрите там ничего больше... — с усилием выговорил он. — Давайте, я вам сам вырву листки.

— О, мой милый паж! — произнесла расстроганная королева, слегка дотрагиваясь до его руки своею похолодевшей рукою, и затем, вырвав листик из его книжки, озабоченно нахмурила брови и, закинув ногу на ногу и положив книжку с листком поверх её на колени, приготовилась писать.

Серёжа поднялся и отошёл в сторону чтобы не мешать ей. Холодная тяжесть опускалась ему на сердце и давила его и, что всего хуже, он чувствовал, что эта тяжесть не растает слезами, а, кажется, так и будет давить сердце всегда. Он давно угадывал всё, но подтверждение догадок тем не менее усиливало

его безнадежность и горе. Он чувствовал себя страшно одиноким и чем-то несправедливо и жестоко оскорбленным.

Вдруг с того места, где рыли могилу, донёлся сначала шум и голоса, а затем, во внезапно наступившей тишине, мягкий голос с заученной торжественностью и скорбью произнёс нараспев, начиная с глубоким придыханием громко и медленно и переходя постепенно в тихий и быстрый шёпот:

«Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко благ...»

Странный трепет объял Серёжу при этой молитве. Он взглянул на продолжавшую писать королеву, и она в этот миг показалось ему ужасно далёкой от него.

«Молитву пролию ко Господу, и Тому возведу печали моя, яко зол душа моя исполнился, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя...» — продолжали доноситься до Серёжи и волновать его душу каким-то новым, неиспытанным до толе волнением молитвенные слова... Ему почему-то вдруг вспомнилась богомольная ста-

рушка-няня, умершая тогда, когда Серёже не было ещё и семи лет, и это кладбище, дотоле возбуждавшее в нём чувство неприятной тоски и даже отталкивающей жуткости, стало казаться ему близким и почти родным.

«Со святыми упокой...» — запели певчие, священник, дьячок, пономарь и, вероятно, могильщики, так как слышно было, как подпевал хриплый голос, по-видимому, принадлежащий тому волосатому оборванцу.

Зоя с досадой подняла голову и, плохо соображая, где и что такое происходит, с неподвижными глазами обернулась машинально в сторону певчих. Но Серёже томительно-сладко было слушать это пение. Он представил себе покойника, которого с этими торжественными и трогательными словами опускают в землю в ясное солнечное осеннее утро, и подумал, что должно быть хорошо недвижно и мирно покоиться в гробу. Какой-то знакомый образ туманно и тихо проплыл в его воображении... Он хотел схватить его и увидел, покойником самого себя.

Теперь такая картина уже не испугала, а растрогала его. Он, как тихое дыхание иной,

возвышенной жизни, впивал в себя доносившиеся до него в чистом и недвижимом воздухе слова: «Земнии, убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдём, яко же повелел еси создавый мя и рекий ми: яко земли еси, и в землю отыдеши...»

Серёжа снова готов был плакать, но уже совсем другими слезами. Особенно взволновала его мысль, как все жалели бы его, если бы он умер. «А она? — подумал он, взглянув на королеву, которая, по-видимому, кончила писать и перечитывала написанное всё с тем же озабочено-хмурым выражением лица. — Она, наверное, плакала бы больше всех и раскаивалась бы в том, что не сумела при жизни оценить меня и не ответила любовью на мою первую и последнюю любовь...»

Он с глубоким укором взглянул на неё, и то же ревнивое чувство острою тоскою пронизало его сердце, отравило благоговейное настроение и снова тяжёлым камнем придавило все мирные и величавые мысли, возбуждённые похоронным обрядом...

— Ну, вот и готово! — сказала она с напускною бодростью. — Теперь недостаёт только

конверта. У вас нет конверта, паж?

— Нет.

— Ну, тогда мы купим конверт по пути в первой лавочке, и это письмо, мой паж, вы вручите своему брату.

Но, заметив тень, промелькнувшую по его лицу, она поспешно прибавила:

— Я не потому забочусь о конверте, что... ну, да вы понимаете... Тут ничего нет, кроме приглашения ехать с нами! А просто потому, что не принято так посылать записки, хотя бы и своим друзьям.

Она немного смутилась, а Серёжа смутился вдвойне.

— Хорошо. Я передам вашу записку, — спокойно ответил Серёжа.

Они молча пошли домой и скоро очутились за воротами кладбища. Тут стояли, ругаясь между собою, извозчики, очевидно, привёзшие провожатых покойника. Тощие и истеганные кнутами лошади с опущенными понуро головами, сонными и измученными мордами, стояли, не шевелясь, привыкшие к этой ругани и к своей горькой доле.

Пустая и хорошо укутанная пыльная доро-

га вела от кладбища в город, начинавшийся здесь жалкими, покривившимися лачугами, похожими на старух с подслеповатыми глазами. Дальше шли крыши более богатых и красивых зданий, возвышались колокольни церкви и полицейские каланчи. Всё это в лёгких облаках пыли, пронизанной блестящими, но уже не знойными солнечными лучами.

II

Конверт был куплен в первой же галантерейной лавочке на краю города. Зоя как будто скорее хотела избавиться от написанной ею записки и отдать её в руки Серёжи. Надписав не без труда скверным пером и рыжими лавочными чернилами адрес, что было уж совершенно излишне, она стала клеить конверт, но на нём, очевидно, было очень мало клея, и он долго не склеивался. Такая тщательность ещё более убедила Серёжу в том, что записка очень важная, это во-первых, а во-вторых, что королева не вполне доверяет ему, и это обстоятельство унизило Серёжу в его собственных глазах. Переменить

конверт из-за того, что он плохо заклеивается, она на глазах у Серёжи не решилась: это было бы слишком явное недоверие, и потому так и отдала ему конверт плохо заклеенным.

— Если он будет упрямяться, вы, милый мой паж со своей стороны также просите его ехать с нами. Скажите, что вы последний день дома, что он должен уважить нашу просьбу и прочее...

Письмо это он взял в руки, как свой собственный смертный приговор, и когда опустил его в боковой карман, почувствовал такую тяжесть, точно вместе с ним положил камень в своё сердце.

Затем он пошёл проводить её до дома, но разговор у них дорогой не клеился. Обоим было не по себе, и оба внутренне желали поскорее расстаться. У самого подъезда квартиры её они, однако, в нерешительности постояли минуты две, делая вид, что им надо что-то вспомнить и сказать друг другу. Но ничего такого не было, и, условившись встретиться у неё в три часа, о чем следовало известить и всех других, они подали друг другу руки.

— Прощайте, милый паж, — тихо сжимая

Серёже руку и точно прося у него и голосом, и ласково-грустным выражением глаз прощения, сказала королева и немного задержала его руку в своей руке.

— Прощайте, королева, — глухо и печально ответил он, как будто они прощались навсегда.

И, не дождавшись даже, когда она исчезнет за дверями, он уныло и вяло побрёл домой, ни на минуту не забывая о тяготившем его письме и, в свою очередь, мысленно желая поскорее передать его по принадлежности.

Пройдя несколько шагов, он оглянулся назад и, не видя уже в подъезде фигуры королевы, достал письмо и, мельком взглянув на него со смешанным чувством зависти и любопытства, переложил его в другой карман, тяжело вздохнул и несколько ускорил шаги.

Но, подходя к дому, он уже желал втайне, чтобы брата сейчас не было дома, а когда узнал, что его нет и что он будет не раньше, чем через час, чего-то напугался и тут же решил избавиться от письма немедленно, положив его на стол в его кабинете — большой,

выходившей в молодой садик, комнате, с письменным столом посредине, со случайным убранством, по которому трудно было судить о вкусах и наклонностях хозяина. Кожаная кушетка и кожаное кресло были почти единственною мебелью этого кабинета, если не считать стеклянных шкафов и этажерок с книгами, где, среди специальных книг по архитектуре на русском, французском и немецком языках, много было книг преимущественно по изящной литературе, гравюр случайного подбора и статуэтка из терракоты.

Серёжа положил письмо на стол и только тогда взглянул на него, собираясь уходить. Но письмо было положено адресом вниз, и, хотя на видном месте, однако Серёжа опасался, что брат может не заметить его. Он подошёл, чтобы перевернуть письмо на другую сторону, и заметил, что крышка конверта почти вся отстала.

Серёжа недовольно нахмурился, и у него мелькнула неприятная мысль, покоробившая его натянутое самолюбие.

«Пожалуй, ещё он, узнав, что я принёс письмо, заподозрит меня в том, что это я от-

клеил конверт... Не лучше ли заклеить его?»

Он глазами стал искать на столе гуммиарабика, но чем-то встревоженный взгляд не находил длинного пузырька с резиновой шляпкой. Да здесь и небезопасно было проделывать эту операцию: брат мог войти и тогда подозрение было бы ещё основательнее.

Серёжа вспомнил, что гуммиарабик есть у него наверху в мезонине, и решил взять письмо туда и без всякого опасения заклеить конверт, как следует.

Он оглянулся вокруг, быстро взял письмо со стола и дрожащей рукой сунул его в карман. Сердце его сильно билось, точно он совершил преступление. Затем, спокойно и пристально оглянувшись снова, он постоял неподвижно на месте, точно прислушивался к чему-то... Но вокруг было тихо. Только из кухни доносился глухой стук, — видно, там рубили котлеты, — да простые часы-будильник на столе выстукивали напряжённо и настойчиво: «Тик-так, тик-так...»

По узкой и крутой лестнице Серёжа медленно стал всходить к себе в комнату, в то время, как ему хотелось бы перепрыгнуть

сразу все ступеньки и очутиться там.

Ему казалось, что его всё ещё провожает стук рубимых котлет и настойчивое тиканье часов, но это сердце стучало в его груди.

«Да что же это значит? — спрашивал себя Серёжа, как совсем постороннего человека. — Отчего я так встревожен? Ведь я ещё ничего худого не сделал».

Он хотел сам улыбнуться своей нервности и решительно направился к письменному столу, где прежде всего увидел гуммиарабик.

«Ну, вот сейчас заклею письмо, и конец, — чувствуя, что сердце как будто перестает биться в ожидании чего-то страшного, рокового, пытался успокоить он себя и достал снова из левого бокового кармана письмо. — Ну, вот сейчас и готово... О чем же тут беспокоиться?..» — слабо шептала мысль, а руки дрожали, и глаза невольно озирались вокруг с мучительным беспокойством, и бедному юноше казалось, что невидимые глаза со всех сторон жадно и напряжённо следят за ним, в то же самое время гипнотизируя его и толкая на что-то низкое и чуждое ему.

Но, всё ещё не допуская мысли, что может

совершиться то, чего так боится он, Серёжа схватил гуммиарабик и, положив письмо на стол, стараясь не глядеть на него, пальцами ощутил, где нужно заклеивать.

Но тут волей-неволей приходилось взглянуть на конверт. Гуммиарабик едва-едва держал крышку в одном месте. Вместо того, чтобы подмазывать края, подсовывая кисточку, лучше было открыть конверт и сделать это аккуратно. Серёжа, стиснув зубы, открыл конверт и увидел записку королевы, написанную убористым, мелким почерком.

«Тебе... любишь... нельзя... умоляю...» ударили в его глаза сразу несколько слов, помимо его воли.

«Всё пропало, — одновременно пронизала его мозг горячая мысль. — Теперь уж всё равно... Ах, если бы она не заподозрила меня в том, что я способен на подобную мерзость, наверное этого бы не произошло! А теперь всё равно прочёл».

И эти четыре слова, как молотки, стучали у него в голове, и оттуда глухой звон разливался по всему его телу и особенно ясно звучал в ушах. Он весь дрожал я, доставая из

конверта небольшой клочок исписанной по обе стороны бумаги, своими помутневшими глазами долгое время только и видел на ней написанными эти четыре бросившихся ему в глаза слова, а все другие слова и строки сливались у него в прыгающие узоры, которые трудно сразу разобрать.

Слова панихиды донеслись ему откуда-то издали, непонятные и страшные: «Амо же вси человеци пойдём надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуйа...»

Промелькнуло лицо кривого могильщика с заячьей губой, и потянуло ароматом фиалок.

А он всё не сводил глаз с мучительных строк, зная, что это его смертный приговор, и всё же надеясь, как преступник, найти между грозных и роковых для него слов хоть намёк на помилование, на счастье. Наконец глаза стали разбирать буквы и слова, которые не сразу освещало сознание, точно им надо было стучаться в его двери и проситься войти.

«Алексей, — читали его глаза мелкий, нервный почерк с недописанными буквами на конце, которые нетрудно было угадать. —

Я больше не могу переносить этой пытки и не писать тебе. Я чувствую, что ты меня уже не любишь, что ты избегаешь меня... Я вся истерзана... Так продолжаться не может... Так издеваться надо мною нельзя... Поддерживая во мне искру надежды, ты топчешь мою любовь к тебе, а ведь она живая... Она просит пощады хоть бы за то счастье, которое тебе давала. Я всё принесла тебе в жертву и не требую за это ничего, кроме искренности и правды теперь... Повторяю, во мне всё ещё тлеет надежда и ею питается моя душа, но умоляю тебя погасить её, или... или вернуться к прошлому и сказать, что я ошиблась, что только моя ревнивая страсть ослепила меня, что ты прежний... Поедем сегодня на лодке туда, где были в первый раз... Поедем с компанией, а потом уйдём от них, как тогда... Да неужели же ты разлюбил меня?! За что? Нет, нет я жду тебя сегодня... Твоё присутствие будет мне счастливым ответом. Спаси меня!..»

Серёжа дочитал письмо до конца и, бледный, опустился на стул. Страшная горечь ощущалась у него во рту, точно он напился чьих-то страдальческих слез. Тело не чувство-

вало ни рук, ни ног, ни головы, а только одно сердце, которое, казалось, наполнило всё это существо и стучало, и сжималось в каждом нерве. Тут было всё: и отчаяние, и мука, и стыд за себя, за неё, даже за брата, и жалость, бесконечная жалость к ней, к этой несчастной теперь девушке. Он, как и все, только подзревал, что между королевой и его братом есть любовь, но никогда не думал, что это зашло так далеко. И кто бы мог подумать это, глядя на её невинное лицо?.. Неужели нельзя её спасти, броситься перед братом на колени, умолять его вернуться к ней, дать ей любовь и счастье, которого никто в мире не заслуживает больше, чем она. Пожертвовать собою, если это, может быть, на что-нибудь нужно.

Последняя мысль заставила его вернуться к себе, к своему преступлению. Что он сделал? Какую страшную, непоправимую низость он совершил! Главное — непоправимую и неизгладимую, как позорное клеймо на совести, которое никакими слезами не вытравить, никаким раскаянием не выжжешь.

Остаётся только одно — умереть: не за что ухватиться, не на что опереться... Всё рухну-

ло, всё разлетелось, как дым. Искусство! Талант! Но что могут они значить без любви, без её любви, без веры в её чистоту, без чистой совести!

Ему, как что-то очень далёкое, вспомнилась прогулка с ней, кладбище, свежесырымаемая могила и святые слова молитв в печальной утренней кладбищенской тишине. Он вспомнил своё настроение, своё предчувствие, свои мысли и особенно это видение себя мертвецом, и сразу нашёл в этом нечто предопределённое, неотвратимое, роковое и спасительное в его настоящем положении и душевном состоянии.

«Яко земля еси и в землю отыдеши... Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание...»

Недаром и все эти слова так глубоко западали в его память.

Остановившись на этой мысли, Серёжа почти успокоился и почувствовал сразу такую усталость, точно он долгое время вносил непосильные тяжести на высокую гору, и теперь ему только хотелось отдохнуть, забыться. Лицо его, ещё утром такое цветущее и

юношески светлое, сразу как будто постарело, осунулось и приняло безнадежное выражение. Он сидел, опустив руки, с неподвижно устремлёнными вперёд и ничего не видящими глазами, почти в забытьё, близком ко сну или к обмороку.

Резкий звонок внизу заставил его вздрогнуть и очнуться. Несомненно, что это звонил брат. Звонок показался ему ужасно сильным и прозвеневшим почти над самым ухом. Серёже показалось, что прошло много, много времени с тех пор, как он пришёл сюда, и с тех пор, как он пришёл к своему неизбежному желанию умереть сегодня, через несколько часов.

Он ещё не знал, как это будет. Сделает ли он все сам, или об этом позаботится судьба, но что это будет так, в этом он ни капли не сомневался. А пока что, надо было исполнить свой долг.

Он холодными, но уже переставшими дрожать руками вложил письмо в конверт и, не торопясь, заклеил его, дал ему высохнуть, а затем медленно направился с письмом в руках вниз, в кабинет к брату.

Уже на лестнице он услышал громкий голос брата и его весёлый, здоровый смех.

«И он ещё может смеяться!» — с неприятным чувством подумал Серёжа, когда до него донёлся другой голос, женский, и вторивший его смеху женский смех.

Серёжа сразу узнал этот смех. Это смеялась Можарова, и ему стало ещё больше не по себе. Он даже остановился было на мысли, стоит ли идти и отдавать при ней брату письмо, но, на мгновение задумавшись, решил, что так даже лучше, и спокойно направился в кабинет, куда дверь была открыта, «чтобы прислуга не подумала чего-нибудь» по поводу пребывания Можаровой в кабинете Алексея Алексеевича, куда Можарова заходила и вместе с сестрой Кашнева, Ольгой, старообразой и некрасивой девушкой, но отличной музыкантшей, которая жила с братом и вела его хозяйство.

Теперь Ольги не было дома, и Кашнев беседовал вдвоём с гостьей, которая не хотела даже раздеться и сидела, откинувшись в кресле, в кофточке и шляпе, играя ярко-цветным зонтиком с длинной и изящной ручкой чёрного

дерева.

Кашневу было лет тридцать пять на вид. Между братьями замечалось большое родственное сходство: те же волнисто-курчавые волосы, тот же пухлый рот, несколько мясистый нос и близорукие карие глаза, которые он щурил, когда выслушивал собеседницу и наклонялся к ней, как будто затем, чтобы лучше рассмотреть её. Негустые чёрные усы и круглая бородка очень шли к нему. Он был строен, подвижен, бодр и производил впечатление человека, здорового до жизнерадостности и много занимающегося гимнастикой.

Собеседница его была миниатюрная, как куколка, и как куколка хорошенькая брюнетка, с тёмным пушком над верхней губою, с немного вздёрнутым носиком и блестящими чёрными глазами, которые то вспыхивали, то угасали, когда она поднимала и опускала свои длинные ресницы или, смеясь, выставляла крепкие беличьи зубы.

Брат, вероятно, рассказывал что-то очень смешное: блестящие глаза Можаровой прыгали от смеха, и зубы белели весело и жизнерадостно. Он то говорили, своим голосом, то ко-

пировал кого-то на купеческий лад, и по этому мастерскому подражанию Серёжа сразу узнал купца Хижова, советовавшегося вчера с Кашневым насчёт плана нового дома и очень падкого к иностранным словам, которые он немилосердно перевирал.

— Дал я ему на днях для выбора два наброска и говорю: «Вот вы посоветуйтесь дома с супругой: какой эскиз вам больше понравится, по тому и станем работать». А он приходит вчера и говорит мне: «Вот этот зигзаг ты мне и обработай акварелью и эмалью, чтобы, значит, по трафарету вышло...» Ха-ха-ха... Это он эскиз-то зигзагом зовёт. Ха-ха-ха!..

И он залился смехом, закидывая назад свою красивую голову и выказывая здоровую, гладкую, точно только что вымытую шею.

Можарова вторила ему немного визгливым смехом и, в свою очередь, спешила рассказать, как жена Хижова рассказывала ей о какой-то операции под «хлоромором»...

— Чудеса, — говорит, — этот хлоромор! Меня режут, как говядину, а я ничего не чувствую!

Она едва в состоянии была от смеха дого-

ворить последние слова. Зонтик прыгал в её руках, летняя шляпка с цветами и бантами также прыгала, и глаза наполнились от смеха слезами...

Кашнев вторил ей снова, но вдруг обернувшись, увидел в дверях Серёжу и, всё ещё смеясь, но, очевидно, недовольный тем, что тот своим появлением перебил такую весёлую беседу, спросил его:

— Что тебе?

Серёжа молча поклонился Можаровой и подал брату письмо.

— Это от кого? — спросил тот, но, взглянув на конверт, узнал почерк и поморщился.

— Тебя просили передать?

— Да!

— Пожалуйста, в другой раз прошу тебя не принимать почтальонских обязанностей на себя. На это есть почта и прислуга.

Но, спохватившись, что тут гостья, он извинился и хотел положить письмо в карман.

— Нет, нет, пожалуйста, читайте... Может быть, что-нибудь экстренное! — поднимаясь из кожаного кресла, в котором она сидела, как в гнёздышке, прощebetала Можарова, пе-

реставши смеяться и поправляя немного сбившуюся шляпу на взбитых волосах.

— Нет, нет, ничего экстренного, пустяки, уверяю вас... — удерживал он её, в то же самое время глядя на Серёжу и удивляясь, что тот не уходит, а молча стоит у книжного шкафа.

Но Можарова собралась уходить.

— Мне пора, а то супруг прогневаётся, что меня нет к завтраку: он у меня ведь любит порядок, — насмешливо прибавила она, протягивая маленькую облитую перчаткой руку Кашневу и его брату. — Передайте мой привет и ноты Ольге Алексеевне. Очень жаль, что я её не застала... До свиданья... Так в пять часов... Вы, конечно, тоже с нами? — обратилась она к Серёже.

— Нет, благодарю вас... У нас своя компания.

— Вздор! Он с нами поедет! — решительно заявил за него старший брат, провожая гостью в переднюю и сам отпирая ей дверь. — Поклон вашему мужу, — прибавил он на прощанье.

— Мерсі, — слишком уж серьёзно поблаго-

дарила она, но Серёжа заметил, что дверь из передней что-то долго не захлопывалась за Можаровой; он покраснел от мелькнувшей у него догадки и хотел уйти, как в дверях его остановил брат, с несколько взволнованным, но не лишённым торжества лицом, поправляя своей красивой большой рукой волосы.

Он был, очевидно, хорошо настроен, и по лицу его, как мысленно определил Серёжа, ещё «бегали зайчики», вызванные, вероятно, приятной беседой и последними минутами прощания в передней. Он чувствовал себя несколько виноватым перед Серёжей, приписав только что замеченную им бледность его лица своему выговору при гостье, и, снисходительно потрепав его по плечу, произнёс добродушно и мягко:

— Ты, брат, извини, что я сделал тебе при Можаровой это замечание... Сорвалось... Ну, с какой стати, в самом деле, изображать из себя почтальона!

— Я не находил в этом ничего дурного, — холодно ответил Серёжа.

— Да я не говорю, что тут есть что-нибудь дурное, а это лишнее, — заметил он и достал

из кармана небрежно сунутое туда письмо королевы. Серёжа с невероятным волнением наблюдал, как брат разорвал конверт и прежде всего с удивлением посмотрел на клочок бумаги и затем близко поднёс его к глазам и, щурясь, стал читать письмо, быстро и нетерпеливо поводя чёрными зрачками.

Серёже казалось, что он читает со страшною медленностью. Он пытался узнать по его лицу, что он чувствует, что думает, но лицо брата оставалось таким же, как при начале чтения — недовольным и раздражённым, и когда он кончил читать, лицо это с минуту сохраняло то же выражение, и даже глаза оставались сощуренными. Затем раздражение и недовольство сошли с этого лица, и оно стало задумчивым и грустным. Когда-то Серёжа любил это выражение в лице брата, но теперь и оно не предвещало ему ничего доброго. Он как будто забыл о присутствии Серёжи и едва не произнёс что-то вслух, но вовремя очнулся и ограничился только тем, что пожал плечами, положил снова письмо в карман и отошёл к окну.

Но, зная содержание письма, Серёже

нетрудно было угадать и смысл пожатия плеч, которое говорило яснее всяких слов: «Ну, что же делать? Разве я виноват, что так случилось?» Сердце Серёжа сжалось за судьбу девушки, но против брата у него не было злобы. Ему хотелось счастья для них обоих, и счастье это представлялось ему возможным. Надо было только для этого ему самому что-то сделать, чем-то пожертвовать... Что именно сделать и чем пожертвовать, он не знал, но это что-то должно было тронуть сердце его брата, объяснить ему всё, пробудить в нём не только сожаление, но и любовь к ней.

Серёжа стоял, прислонясь к стеклянному шкафу и, не сводя глаз с брата, старался проникнуть в тайну этого счастья, найти ключ его. Сам он не только не перестал любить королеву после своего вероломного и жестокого открытия, но полюбил её ещё сильнее, хотя эта любовь уже очистилась глубоким сожалением к ней и освободилась от личных, ещё полусознательных юношеских вождений. Серёжа твёрдо помнил и не забывал ни на одну минуту, что о его личных притязаниях теперь не может быть и речи, так как скоро дол-

жен настать неотвратимый для него, предопределённый конец.

Но что же делать? Что? Достигнет ли он своей цели, если умолить брата ехать на лодке с королевой?

— Брат!

Тот быстро обернулся, не сразу очнувшись от задумчивости, и удивился, что Серёжа здесь.

— Я хотел тебя просить...

— Ну?

— Поедем с нами.

Он твёрдо выдерживал взгляд брата, открыто глядя в его глаза.

Но этот-то чересчур уж открытый взгляд и смутил Алексея. Он отвернулся и недовольно проговорил:

— Ты сам знаешь, что я не могу ехать, потому что дал слово другой компании, да и тебе советую ехать с нами.

— Я не могу, потому что тоже дал слово другой компании.

И тот и другой избегали имён Можаровой и королевы, точно дело было совсем не в этом.

— Очень жаль. Мама будет недовольна, что ты едешь не со мною. Ты знаешь, как она всегда боится пускать тебя одного на воду, тем более, что ты не умеешь плавать.

— С нами поедет Оля.

— Ах, вот как, и она поедет с вами?

— Да. Ведь ты знаешь, как они дружны! Может быть, вашу поездку можно отложить на завтра, — робко прибавил Серёжа, — а сегодня ты поедешь с нами. Ведь нам так недолго видется, — прибавил он с такой глубокой тоской, что Алексей не мог не ответить:

— Ты так это говоришь, точно мы навек расстаёмся.

Серёжа ничего не возразил, и Алексей продолжал:

— Я не понимаю твоей настойчивости. Конечно, если бы уж так необходимо было ехать именно с вами, я бы мог отказаться от той прогулки; но никакой необходимости тут нет: и здесь, и там — пустая забава, и больше ничего.

Серёжа не успел ещё прийти ни к какому решению после возражения брата, как в передней послышался новый звонок, и затем в

кабинет вошла Оля Кашнева, высокая, некрасивая девушка, с болезненным цветом лица, большим ртом и ещё больше чем у братьев, мясистым носом. Только волосы да глаза и красили её. Глаза были большие, немного навывкате, кроткие и застенчивые, и в них светились грусть и нежность многое понимающей и привязчивой натуры. Ещё хороша в этом лице была улыбка, которой Ольга точно стеснялась сама.

Алексей обрадовался её появлению. Они ещё сегодня не виделись, так как он встал на работу рано утром, и когда пил чай, Ольга была на базаре. Поцеловав её в щеку, Алексей сказал:

— А у тебя сейчас была Можарова.

— Можарова? — переспросила Ольга, несколько удивлённая.

— Да.

— Мне Даша не сказала. Зачем же она приходила?

Алексей недовольно поморщился.

— Что за вопрос? Кажется, вы знакомы. Впрочем, она принесла тебе ноты, которые брала.

— Мне Даша не говорила об этом...

— Да что ты всё: «Даша не говорила, да Даша не сказала». Вот ноты твои.

Он взял со стула ноты и передал их сестре.

Она ничего не ответила, но по её лицу нетрудно было прочесть, что она думает: «Зачем же говорить, что Можарова была у меня, когда она была не у меня и не для меня».

Захватив ноты, она хотела уйти, но Алексей остановил её.

— Ещё Можарова поручила мне пригласить тебя ехать с нами на лодке.

Серёжа испугался, что не успел предупредить Ольгу, и что она даст ему своё согласие, но Ольга отказалась.

— Нет, благодарю. Я сейчас зашла к королеве... к Зое Дмитриевне, — почему-то нахмурилась, поправила она, — и обещала с нею поехать. Ты ведь тоже с нами? — обратилась она к Серёже.

— Да.

— Я думала, и ты поедешь с нами. Ведь сегодня последний день Серезин, — подняв на брата глаза и тотчас же покраснев и опустив их, сказала Алексею сестра, и уж почти про

себя пробормотала: — Зоя Дмитриевна просила...

— Передай, что я никак не могу сегодня, — уже зло отрезал брат. — Я дал слово. Вы можете присоединиться к нашей компании.

Сказал и отвернулся, делая вид, что ищет на столе какие-то бумаги. Его начинало раздражать одно и то же.

Ольга мельком взглянула на Серёжу и ничего не сказала. И Алексей был доволен тем, что она едет не с ним; сегодня её присутствие стесняло бы его, да и мать будет спокойнее за Серёжу, которого она всё ещё считала ребёнком.

Серёжа и Ольга вместе двинулись к выходу.

— Вы куда же едете? — чтобы не отпускать их так сухо, спросил Алексей. — Может быть, встретимся?

— На Кармасан.

— Значит, нет: мы на Светлую.

По случаю прогулки обедали рано.

Ольга и Серёжа тотчас же после обеда собрались к королеве, куда, по уговору, должны были прийти также Курчаев и Маркевич.

Мать Серёжи, старуха лет пятидесяти, купеческой складки, добрая и необыкновенно чувствительная, была очень недовольна, что братья едут не вместе и не посидят последний день дома.

— Завтра с Сергеем в Питер поедем, так хоть бы нынче-то всей семьёй дома посидели, честь-честью.

Её успокоили тем, что вернутся рано домой.

— Где уж рано, не знаю я... Ты только приглядывай за Сергеем-то, — наказывала она дочери. — Купаться его не пускай. Вода-то, она злая, злей огня, потому что с виду-то не так страшна, смиренная да ласковая. Я её всегда опасалась. Долго ли утонуть, спаси Господи, али простудиться...

— Полно, мама, — остановила её Ольга, — не беспокойся. Разве в первый раз?

— Ну, ну, Бог с вами, поезжайте.

Серёжа подошёл к матери и с непонятною, невыразимою грустью поцеловал её в сухую, морщинистую щеку.

Она заботливо его перекрестила и, взглянув в его лицо, сказала:

— Что ты сегодня такой бледный?

— Да я тоже нахожу, что у тебя нездоровый вид, — подхватила Ольга.

Серёже захотелось разрыдаться, броситься к матери на шею и сказать, что он останется с нею, что он никуда не поедет, но как раз в эту минуту Алексей насмешливо перебил сестру:

— Ну вот, пошли пугать его. Я не помню, чтобы мама когда-нибудь нашла у него цветущий вид: ей всегда кажется, что он нездоров или готовится к нездоровью. А тут ты ещё. Со всем девчонку из него сделали дамским воспитанием. Не слушай их, брат, будь самостоятельнее и смелее, — по-товарищески обратился он к Серёже. — Я и то замечаю, что ты начинаешь распускать себя, чересчур много живёшь фантазией и чувством. Для жизни это не годится.

Он допил последний глоток чёрного кофе

и расправил свои мягкие красивые усы, всегда чем-то нежно пахнувшие.

— Вот своих наживи, тогда и учи, — ворчливо остановила его мать. — Худо ли, хорошо ли, я вас вырастила, а у тебя вон на висках седина белеет, а ты ещё только сам с собою и возишься.

— Н-да... — потрогав виски, согласился Алексей. — Седина вещь неприятная. Кажется, Мюссе сказал, что это нити, из которых смерть ткёт нам саван. А всё же не хочется жениться

— Мало ли что не хочется. Непорядок это.

— Свободы жалко, — откровенно сознался он.

— Да и на какую жену нападёшь, — добавила от себя Ольга, задетая за своё больное место. — Иные женятся, а глядь — не столько для себя, сколько для других... — намекнула она на Можарова.

— Ну, ты в этом что смыслишь? Не приста-ло тебе об этом говорить! — остановила её строго мать, считая, что девушка не должна ничего понимать в таких вещах, хотя бы ей, как Ольге, было под тридцать лет.

Алексей недовольно поморщился.

— Ну, не все, чай, такие вертушки, — продолжала, однако, при ней, мать на тему, очень всегда её интересовавшую и даже служившую предметом для бесконечных пасьянсов. — Есть и хорошие девушки. Да вот хоть та... как её по имени-то?.. Королевой вы её зовёте... Зоя Дмитриевна!.. По обличью-то и точно королева. Вот приданого только нет. А то всякому принцу под пару.

Все присутствующие сразу смутились, но боялись глядеть друг на друга.

Настала неловкая пауза, которую нарушил Алексей, обращаясь к Серёже:

— Что это у тебя сапоги в глине?

— Это я на кладбище запачкал. Могилу там рыли.

— А ты что же делал на кладбище?

— Гулял.

— Весёлое место для прогулок, нечего сказать.

— А для кого могилу-то рыли? — заинтересовалась старуха, любившая читать о покойниках в столичных газетах, которые получал Алексей.

— Не знаю.

— Как же это ты не узнал? Да видно из немудрящих, потому что по городу-то было бы известно. Нынче и покойники-то все ледащие какие-то...

Алексей и Ольга, по привычке, укоренившейся с детства, также поцеловали после обеда мать в щёку и разошлись из столовой в разные стороны.

Старуха пошла подремать в спальню, Алексей — в свой кабинет, а Серёжа с Ольгой отправились к королеве. Сердце Серёжи тосковало и ныло всё под той же холодной тяжестью, и образ матери, её ласковый голос и взгляд провожали его всю дорогу.

Королева, по-видимому, нетерпеливо ждала их, потому что, увидев сестру и брата из окна, сама отворила им дверь в передней и вопросительно взглянула сначала на одного, потом на другую. Ей нечего было спрашивать ответа на мучивший её вопрос: поедет ли он? Она его угадала сразу и вся похолодела от муки, и в глазах её помутилось. Но она переборола свою слабость и с напускным спокойствием произнесла:

— Здесь уж ждут Курчаев и Маркевич.

— Так я не буду скидать кофточки, — заявила Ольга. — Алексей просил меня передать, что он страшно жалеет, что не может ехать с нами. С него взяла слово Можарова. Она приходила вчера приглашать его ехать на Светлую, затем была сегодня с тем же... Если бы мы его предупредили раньше, он бы ни за что не согласился ехать с ними, — не умея лгать, бормотала Ольга, глядя своими добрыми глазами на подругу с одним желанием успокоить её.

— Ну, и без него обойдёмся, — с гордым мужеством воскликнула королева, но в её голосе звучало с трудом переломленное отчаяние. И Серёжа чувствовал это, и ему хотелось, как брату, как другу, сказать ей, чтобы она не беспокоилась и не приходила в отчаяние, что всё устроится как нельзя лучше.

— Что вы так грустны, мой паж? — обратилась к Серёже королева, когда они двинулись в комнату, с тихой ласковостью касаясь его руки, и, не дожидаясь ответа, закончила горько: — Не надо. Наша жизнь — это, как вы когда-нибудь узнаете, кладбище: когда вы уви-

дите хоть одну дорогую могилу, своя собственная вам уже не покажется так страшна. Всем только и приходится делать, что хоронить себя по частям.

— Господа! — вдруг переменяла она тон, обращаясь к Курчаеву и Маркевичу. — Не будем терять времени. Поедемте.

Курчаев, учитель словесности в гимназии, где окончила курс Зоя, белобрысый, в очках, с широкой бородой и расчёсанными косым пробором волосами, был влюблён в королеву ещё с того времени, когда она училась в гимназии, и, не смущаясь её холодностью, настойчиво ухаживал за нею уже года три, без ревности и особых претензий. Маркевич был сын местного директора банка, последнего курса филолог, тонкий и гибкий, как хлыст, с длинной шеей, с длинным носом и ртом таким маленьким, точно он был проткнут на лице пальцем. Маркевич тоже был влюблён в королеву и писал ей стихи с несколько декадентским пошибом.

Через минуту все пятеро, захватив корзинку с чайником, посудой и кое-какими припасами, расселись на извозчиков и поехали к

реке, где у Маркевича была собственная небольшая и очень лёгкая лодка.

— Усядемся ли мы все? — спросила обстоятельная, как всегда, Ольга.

— Без гребцов отлично усядемся.

— На что же нам гребцы, — басом отозвался Курчаев. — Я берусь один довести вас хоть на край света этими руками.

И он показал огромные волосатые ручищи которыми мог бы, кажется, вывезти целую барку.

— Зачем же так далеко? — затыкая свой крошечный рот папиросой произнёс Маркевич. — Поедемте на Кармасан, на наше излюбленное место.

Кармасан называлась река, впадающая в Светлую, и попасть туда можно было, только спустившись по Светлой вниз.

Лодка быстро понеслась по течению, подгоняемая ещё неуклюжими, но сильными ударами весел в руках Курчаева, от которых она вздрагивала и судорожно бросалась вперёд, разрезая всхлипывавшую воду, которая в журчащим шумом, как развевающийся хвост, разбегалась за кормою, а на месте, куда вонза-

лись весла, долго оставался крутящейся воронкой след и слегка пенилась вода.

С одной стороны убегал город, круто поднимавшийся в гору; монастырь с белыми стенами, за которыми зеленел старый сад; каменные и деревянные здания на горе; духовная семинария, какие-то амбары, а внизу — рыбацьи лачужки, лепившиеся чудом над оврагами по уступам; затем бойни, а там — дикие скалы и ущелья, покрытые мелким кустарником.

Другой берег был пологий, густо заросший лесом, сначала мелким, а чем дальше, тем крупнее. Река подходила под самые деревья, обрывала их и сносила вниз, или трепала цепко державшиеся корнями за землю, но уронившие вершины к воде.

Около этого берега стояли бесконечные плоты, на которых кое-где шевелились люди. Светлая — река очень широкая, но плотовщики звонко перекликались с теми, которые были против них на берегу, готовясь переправляться к ним на лодке, и по воде скользили и разливались их сильные, свежие голоса с вятским выговором.

— Ого-го-го-го-го — кричал с плота молодой парень в красной рубахе, без шапки и босой, приставив рупором руки ко рту. — Землячки... Водцонку-то захватили... ли... и... и... и?..

Река ловила звуки и буйно, и весело хотела умчать их вниз, но, видно, там поймали их, потому что ответили также зычно:

— Захватили... и... и... и...

— А калацика-то купили... ли... и... и?.. — радостно несло по реке.

— Купили... и... и... — как эхо, несло по реке...

После чего парень, сделав радостное антраша, загнул по воздуху крепкое словцо и по брёвнам, прыгая, как жеребёнок, к берегу где другие «землячки» что-то варили в котелке, понёсся, чтобы поделиться с ними радостною вестью, хотя надо было от природы жестоко оглохнуть, чтобы рядом не слышать того, что было слышно чуть не за версту. Скоро и плоты остались позади. Прямо высоко над Светлой, как ажурный пояс, висел железный мост, стойко державшийся на восьми быках. Налетев, не доезжая моста, впадал Кармасан, быст-

рая и узкая речка, в красивых высоких берегах извивавшаяся, как арабская надпись.

Прямо при впадении Кармасана вода была страшно стремительная, о чём ясно говорили и зацепившиеся здесь огромные деревья, кое-где поднимавшие вверх со дна корявые корни или обломки вершин. Курчаев однако справился, хотя пот смочил его густые волосы, и они прилипали к большому, упрямому лбу. Лодка подвигалась против течения довольно бойко, но гребец был недоволен тем, что Маркевич всё учил его, как надо грести по правилам спорта.

— Да на какой черт мне ваш спорт!.. — баянил Курчаев. — Вы вот попробуйте-ка, погребите сами, а то уж у меня мозоли вздулись. Ага, не хотите, это, верно, не то, что декадентские стихи писать... Я довольно вёз, везите.

— Да ведь вы говорили на край света.

— И свёз бы, если бы королева приказала. Паж, что это вы, точно в рот воды набрали? Давайте-ка, споем что-нибудь. Ольга Алексеевна, затягивайте «Вниз по Волге-реке...»

— Нет, что-то не поётся, — отозвалась Ольга.

— Эх, вы, господа! Все вы сегодня точно в воду опущенные... И королева тоже. Отчего и почему?

Королева поспешила ответить:

— Нет, что вы... Я как всегда.

Но Маркевич бросил на неё ревнивый взгляд, а затем обменялся многозначительным взглядом с Курчаевым: влюблённые неудачники поняли друг друга. Курчаев вздохнул всюю своею богатырскою грудью и ещё сильнее заработал вёслами, а Маркевич меланхолическим взглядом глядел на королеву.

— Хоть бы вы стихи, что ли, какие-нибудь прочли... — не умея долго молчать, опять забасил Курчаев, отлично зная, что произведения музы одинаково несчастного соперника вполне безопасны для сердца королевы.

— Пожалуй! — охотно согласился поэт. Он уже давно горел желанием довести до сердца королевы или, по крайней мере, до её слуха новый плод вдохновения, но всё не представлялось удобного случая. — Я готов, если только присутствующим не скучно будет слушать.

— Нет... пожалуйста... пожалуйста...

Поэт придал своему лицу по возможности задумчивое выражение, и из его крошечного рта, как булькающая влага из графинчика, освобождённого от пробки, полились стихи, явно обращённые к королеве:

*Заря любви тебе сияет,
Сияет,
Струна души моей рыдает,
Рыдает,
О чем рыдает я не знаю,
Не знаю,
Не весть ли то земному раю,
О раю!
С тобою мы, хоть ты не с нами,
Не с нами...
Твой дух во сне, но полн не снами,
Не снами.
О, отзовись... Сердца волнами,
Волнами,
Сольются в рай, звуча струнами,
Струнами...*

Королева обыкновенно всегда подсмеивалась над декадентскими стихами своего поклонника, но на этот раз она вряд ли даже слышала их. Она смотрела туда, вниз по Светлой, куда должен был поехать Алексей с Мо-

жаровой, и душа её болела оскорблённою любовью, ревностью и отчаянием.

Королева по какому-то непонятному побуждению взглянула на Серёжу.

*С тобою мы, хоть ты не с нами,
Не с нами,*

коснулись её слуха стихи декадента.

Серёжа поразил её своим неподвижным, будто окаменелым лицом, так мало имеющим общего с его постоянным выражением. Такое же точно выражение лица она заметила у него, когда он стоял, забывшись, перед могилой.

Королеве стало жутко и захотелось приласкать мальчика, согнать с его лица эту глубокую и внушающую жуткое чувство тень. В то же самое время на него глядела Ольга с неопределившимся ещё чувством любопытства, недоумения и любовной заботы. Глаза Ольги встретились с глазами королевы, как будто спрашивая её, что значит настроение её брата, и королева невольно смутилась и молча опустила глаза.

А он смотрел на воду, и эта вода казалась

ему живую, на что-то намекавшей и что-то обещавшей ему. Он видел там струящееся отражение своего лица и свои же глаза, притягивающими его странною тайною. Он чувствовал на себе взгляды Ольги и королевы, но ему казалось, что эти взгляды тоже как будто смотрят на него из воды.

Вода о чем-то шепталась и с лодкой, и с берегом, и с деревьями, ещё чаще, чем на Светлой, наполовину оторванными от родной почвы и купающимися свои ветки в её струях. Порою с высокого обрыва осыпалась земля и с печальным шорохом скатывалась в воду, напоминая ему знакомый шорох земли на кладбище.

Но вода не похожа на могилу. Она вся — жизнь и движение, и всё вокруг живёт дружно и заодно с нею.

Мелькают острокрылые стрижи, цепляясь за обрывы, истыканные их гнёздами, и звонко и хлопотливо щебеча. Вот один из них погнался за бабочкой, но не поймал, а только ударил над самой водою, и она упала на её поверхность и поплыла по течению, трепеща беспомощными крылышками, а затем вдруг

исчезла.

«Вот и вся жизнь», — подумал Серёжа, и эта мысль доставила ему смутное удовольствие.

В это время поэт кончил читать, и Курчаев проговорил:

— А, право, в декадентских стихах что-то такое есть: ничего не понимаешь иной раз, а мурашки бегают по телу.

В его глазах, маленьких и умных, бегали лукавые искорки, но поэт не слышал иронии и ответил:

— Это высшая похвала мне...А вам, Ольга Алексеевна, нравятся эти стихи? Я вас спрашиваю, как музыкантшу. Чувствуется ли в них та внутренняя музыка, которая сильнее всяких слов говорит о настроении автора?

Ольга не слышала ни слов, ни их внутренней музыки, но, готовая лучше солгать, чем доставить человеку неудовольствие, в замешательстве ответила:

— Да, мне кажется, чувствуется.

Ольга застенчиво взяла руку королевы и, положив её к себе на колени, стала тихо гладить с таким виноватым лицом, точно при-

чина её тяжёлого настроения лежала в ней. Королева улыбнулась ей в ответ на эту ласку и молча нежно пожала её руку.

Лодка обогнула песчаную отмель, по которой на длинных ножках бегали, посвистывая, точно играя в забавную игру, кулички, быстро снявшиеся при шуме вёсел, и пристала к ней с другой стороны, где берег был немного покруче.

Тут и было место стоянки. Славное место!

Песок наносный, золотистый и мелкий, как на подбор, у берега, а немного дальше густой пахучий тальник, за зелёной стеной которого целый лес дубов, вязов, осокорей, старых и молодых, цветущих и поломанных бурями и грозами, и поваленных буйною в половодье водою. Там целыми кучами валялся и гнил бурелом, великолепная пища для огня, и стояла такая тишина, что доносился явственный шорох воды, подмывавшей глинистые берега, сливавшийся с гудением несметных в летнее время комаров и мошек.

Река около этого места была узкая и стремительная. Она делала неподалёку, выше, крутой поворот; течение било прямо в обрыв,

от обрыва также с силой отбивалось под таким же углом к противоположному берегу, очень высокому и крутому, покрытому огромным старым лесом, впереди которого как-то неожиданно возвышалось большое кряжистое, совсем голое, расщеплённое молнией, старое дерево: точно оно завело сюда всё это полчище зелёных великанов, и они с обрушившимся на него проклятием, омертвившим его некогда могучий стан, толпясь, остановились здесь и замерли навеки, слушая тихий шум и плеск живой и стремительной реки. Отсюда река бежала дальше, образуя налево от того места, где остановилась компания, глубокий омут, где вода всегда казалась почему-то мутнее, чем рядом, может быть, оттого, что над омутом свесила густые и печальные ветви ива.

— Искупаемся, господа, — предложил Курчаев, зачерпывая чайником воду. — Вода тёплая. Перед чаем освежиться приятно. Дамы ошую, а кавалеры одесную.

Песчаная отмель шла далеко вниз и пряталась за непроницаемую стеною деревьев. Все приняли предложение Курчаева и, быстро

разведя костёр и повесив над ним на козелках, сохранившихся от рыбаков, большой чайник, разошлись: дамы — направо, а мужчины — налево.

— Серёжа, ради Бога, будь осторожнее! — обернувшись крикнула ему сестра.

Серёжа обернулся и улыбнулся ей спокойной и нежной улыбкой, затем перевёл глаза на лицо королевы, которая также оглянулась назад, и в уме у него блеснула мысль:

«Открыться ей, или не открыться, что я прочёл письмо? Или сейчас, или никогда!.. Но какой в этом смысл? Это только увеличит её без того унижающее горе».

Ему самому это не представлялось уже теперь столь важным, и он вспомнил слова королевы: «Наша жизнь, — это кладбище. Когда вы увидите хоть одну дорогую могилу, своя собственная вам уже не покажется так страшна. Всем только и приходится хоронить себя по частям».

Для Серёжи этой дорогой могилой было её счастье, которое заживо схоронил его брат. Надо воскресить его. Второй могилой — была его собственная чистая первая и последняя

любовь. Этого уж не воскресишь.

Но зачем же хоронить себя по частям, когда можно сразу? Только как это сделать? А надо сделать скорее, иначе пройдёт это светлое и тихое отношение к всеисцеляющей смерти, которая теперь уж не казалась ему противной. Наоборот, у неё были глаза королевы, и она глядела на него этими глазами из воды.

Серёжа стал медленно раздеваться.

Снимая сапоги, он коснулся руками могильной глины и вдруг с поразительной ясностью увидел могилу и по пояс работающих в ней могильщиков.

Также они и мне скоро будут рыть могилу, а кто-нибудь, так же, как я, придёт и будет заглядывать туда, и ему также покажется, что его должны туда столкнуть.

И Серёжа улыбнулся чему-то, и когда взглянул на своих спутников, также разоблачавшихся на песке и о чем-то споривших между собою, они показались ему маленькими-маленькими, точно это были не живые люди, а хорошо сделанные говорящие куклы.

Он встал и, не отряхая глину с руки, напра-

вился к воде, ощущая странную пустоту во всем теле. Сердце его как будто опустилось куда-то вниз и вместо сердца также была пустота.

Курчаев и Маркевич перестали спорить и совсем голые разлеглись на песке. Перед самой водою Серёжа остановился, и ему захотелось также голым, как они, полежать на песке, ничего не чувствуя, ни о чем не думая и только глядя на небо да слушая мягкий шорох воды у берега. Он лёг и устремил глаза в небо.

Время близилось к закату, солнце уже скрылось за сплошной стеной деревьев, и синева неба стала просвечивать золотыми тонами. Ни одного облака не было над ними и свежий воздух, пахнувший лесной крапивой, древесными корнями и сырою зеленью, был мягок и нежен.

И вода тихо лепетала между ветвями склонённой к ней ивы и ласково дышала, ластясь к берегу.

Серёже совсем не было жаль покидать всё, что его окружало, но не хотелось и шевелиться. Он бы пролежал, вероятно, долго, если бы бас Курчаева не нарушил этой тишины.

— Ну, однако, пора, а то они прежде нас выкупаются.

Тогда Серёжа встал и пошёл в воду по привычке лицом к берегу, как учил его брат: отойти несколько шагов, по грудь, а потом плыть к берегу.

Маркевич спросил его, холодная ли вода, но Серёжа ничего ему не ответил: он не слышал вопроса и не ощущал воды.

Он глядел вниз и видел там свои глаза, а за спиною — глаза королевы, притягивающие и глубокие...

Тогда Маркевич сам склонился к воде и стал щупать её ногою, в то время как Курчаев присел на корточки и, ёжась и отдуваясь, освежал водою волосатую грудь, плечи и подмышками.

Когда же оба они, точно по команде, оглянулись в воду, туда, где стоял Серёжа, его там не оказалось.

И на воде не виднелось никакого следа, даже обыкновенных кругов или волнения; она плавно катилась вдаль, такая же весёлая и спокойная, как за минуту перед тем: точно в ней был не живой человек, а призрак.

— А где же Серёжа? — спросил несколько удивлённый его внезапным исчезновением Курчаев.

— Он сейчас был здесь, — указал Маркевич место, где видел мальчика.

— Ну, да, я и сам его видел тут, а где же он теперь?

— Вероятно, нырнул.

— Но он не умеет нырять. Он и плавает-то плохо.

— Ну, значит, вышел и спрятался в кусты.

Тогда оба, в один голос, они крикнули: «Серёжа!» и насторожились.

Им никто не ответил. Только вода залепетала и засмеялась между ветвями ивы.

Оба встревоженно переглянулись.

— Серёжа! — ещё настойчивее крикнул Курчаев.

И опять молчание.

— Он прячется от нас, — успокоительно заметил Маркевич. — Это довольно глупая штука.

— Серёжа! В самом деле глупо так шутить, — строго заявил Курчаев, глядя в кусты такими глазами, точно он отлично видел там

Серёжу. — Вылезайте-ка оттуда...

Опять то же молчание... Только по-прежнему тихо смеялась вода, шевеля ветками и листьями ивы и ещё ближе прижимаясь к берегам.

Оба побледнели, и, казалось, всё побледнело, как они, и насторожилось, ожидая ответа.

— Да отзовитесь же, черт возьми! Что за идиотство! — истерически вырвалось у Маркевича, и он, похолодев, вскочил на ноги. Курчаев вскочил также, и волосы от ужаса зашевелились у него на голове.

Они снова посмотрели друг на друга неподвижными, широко открытыми глазами и бросились к воде.

Вода молчала, точно вор, спрятавший свою добычу и уверенный, что у него её не найдут и не отымут.

Ни слова не говоря, Курчаев полез в воду. Маркевич бросился за ним. Но ни тот, ни другой не умели плавать. С отчаянным видом шарив руками и ногами, возле себя, они испуганно и сконфуженно вылезли на берег.

Маркевич, как наименее потерявшийся, схватил весло и, погрузившись снова по пояс

в воду, стал шарить веслом впереди. Но и это занятие оказалось бесплодным.

— Утонул! — пробормотал Курчаев, едва шевеля сухим и одеревеневшим языком.

— Утонул! — повторил Маркевич.

В это время сзади их слышались тревожные голоса:

— Что такое? Что случилось?

— Почему вы кричите Серёжу?

Курчаев и Маркевич едва успели натянуть на себя белье и часть платья, как появились королева с распущенными волосами и Ольга.

— Ради Бога... Что случилось? Серёжа...

— Утонул!.. — выпалил Маркевич, разводя руками. Страшный крик вырвался у Ольги. Она рванулась куда-то вперёд, потом зашаталась и без чувств грохнулась на песок.

Все бросились к ней. Королева с помутившимся взглядом глядела то на Ольгу, то на воду.

Она была бледна и со своими распущенными по плечам и спине волосами сама напоминала ангела смерти.

Пока Курчаев и Маркевич приводили в чувство Ольгу, королева опомнилась и стала

быстро расстёгивать лиф.

— В каком месте он утонул? Как это было? — сухими и мертвенно-бледными губами спрашивала она у мужчин.

Те передали ей, что знали, продолжая брызгать в лицо Ольги водою.

Приказав им отойти в сторону, королева быстро сняла с себя всю одежду и бросилась в воду.

Она хорошо плавала и ныряла и с отчаянной решимостью погружалась на самое дно, разыскивая утопленника.

Она на минуту только показывалась над водою, чтобы запастись воздухом и снова исчезнуть в глубине.

Ольга стала приходить в себя и почти безумными глазами оглядывалась кругом, спрашивая, не кошмар ли так напугал её. Её охватила такая слабость, что она не могла пошевелиться. В это время королева опустилась ещё раз на довольно глубоком месте. Несколько мгновений её не было видно, и вдруг она с лицом, посиневшим от ужаса, вынырнула с криком на поверхность и рванулась прямо к берегу.

Все думали, что она наткнулась на утопленника, но это было не то: она задела на дне ногою за корягу и едва могла выбраться наружу, осадив себе до крови кожу на ноге.

— Это безумие! — бросился к ней бледный и трясущийся Курчаев. — Так нельзя... Вы утонете сами...

Он совсем забыл, что она не одета, но она махнула ему рукою, стоя по горло в воде, и он опомнился и отошёл обратно. Тогда, обессиленная, отчаявшаяся, она вышла из воды и наскоро оделась, повторяя посинелыми губами:

— Господи, да что же это такое? Господи, да что же это такое?..

— Утонул? — как-то машинально спросила её Ольга.

Королева ничего не сказала и закрыла лицо руками.

— Утонул... утонул... — безумно повторяла, сидя на песке Ольга.

Рыбачья лодка появилась у поворота.

— Сюда! Сюда! — закричал Курчаев.

Рыбак послушно направился к берегу.

Было ещё не поздно. Прошло не больше пя-

ти минут с тех пор, как Серёжа утонул.

Курчаев быстро объяснил ему, в чем дело, но рыбак вынул трубочку и вовсе не собирався лезть в воду разыскивать утопленника.

— Ищи! — заревел на него Курчаев, и если бы тот не стал мгновенно раздеваться, он со всем, с трубкой, несомненно швырнул бы его в воду.

Рыбак, с испуганным лицом, для вида, проболтался в воде и, трясаясь перед Курчаевым, не то от страха, не то от холода, так как становилось уже свежо, заявил:

— Нет, ваше благородие. Тут надо сетями действовать. Дозвольте, я неподалечку за рыбаками съезжу: у них сети есть, а кроме того промежду них есть один парень, Окунем прозывается, он беспременно утопленника найдёт.

У Курчаева опустились руки.

— Ладно, — согласился он. — Пусть придет Окунь и рыбаки с сетями. Я им за это заплачу.

Но не всё ли равно теперь, кто бы ни приехал. Если бы утопленника и нашли, его нельзя было бы вернуть к жизни.

Занятый разговорами с рыбаком, Курчаев не видел, что творилось с Ольгой, и только теперь оглянулся, слыша встревоженные голоса.

— Пустите... Пустите... — хрипло настаивала Ольга вне себя, порываясь броситься в воду за Серёжей. — Я найду его... Пустите... Пустите...

Её с трудом удерживали королева и Маркевич.

— Пустите... Пустите... — повторяла она и, оттолкнув обоих, очутилась у воды.

Курчаев бросился к ней и вовремя удержал её сильными руками.

Она снова забилась, стараясь вырваться и всё повторяя одно и то же слово «пустите» и, обессилев, вдруг истерически беспомощно зарыдала.

IV

Прибывшие вскоре вместе с Окунем рыбаки напрасно искали утопленника сетями и баграми. Напрасно и Окунь показывал своё искусство, ныряя, как дельфин, и даже для чего-то кувыркаясь в воде. Утопленника не было.

— Надо полагать, его вниз снесло. Экая быстрина-то! — говорили рыбаки.

— Сила!

— А то под корягой застрял. Вся река в корягах: вон сеть-то, как порвали. Заплатит ли ещё? — сомневался тот же рыбак, искоса поглядывая на Курчаева.

— Заплатит... Богатый, слышь... Архитекторов брат...

— Через три дня выплывет.

— Как пузырь в животе лопнет, так непременно выплывет.

— Лови его... А может, он во-о где отседова будет через три дня-то!.. — неопределённо махнул он рукою вдаль. — На Светлой...

— А то ещё дальше.

— Не... Беспременно за корягу заденет.

Этак же летось было... — начал рассказывать Окунь, но его перебили...

— Айда венгеря ставить! Время.

Пылающий закат обнял небо и деревья, и воздух и реку. Всё вокруг приняло золотисто-розовый отсвет, точно оделось в праздничную воздушную ризу для вечерней молитвы. Река бережно и нежно хранила отражения розового неба и точно впитавших в себя этот волшебный и чарующий блеск деревьев. Казалось, она перестала струиться, замерла, боясь шевельнуться, чтобы не нарушить этого очарования... Бог весть откуда взявшиеся перистые облачка, точно наваленные грудой лепестки роз, рассыпались и таяли высоко в небе.

Вечерняя тишина была полна кротости и мира, и её неприятно нарушали сдержанно-встревоженные голоса и движение на песчаной косе, где среди шевелившихся людей всё ещё горел костёр и кипела в чайнике вода, с болтливым бульканьем поднимая его крышку и падая из носика пузырьчатыми капельками на горящие головни.

Окунь давно уже посматривал на чайник

и наконец не выдержал.

— Невредно бы чайку горяченького... Прогрог я больно! — ёжась для пущей убедительности, деликатно заявил он своим.

— Н-ну!.. — строго прикрикнул на него отец, указывая глазами на поражённую горем сестру утопленника. — Собирайся-ка лучше.

Курчаев дал свой адрес рыбакам, и они уехали на работу, посоветовав ему на всякий случай обратиться на спасательную станцию, если желательно найти утопленника.

— Это дело не наше, а спасатели на то и приставлены, чтобы утопленников вытаскивать.

Они снялись и уплыли, и на песке сразу стало ещё пустынное и печальнее.

— Мама... Бедная мама! — вырвалось из помертвелых губ Ольги. — Утонул, и тела не нашли...

— Я могу сейчас съездить за спасателями, — предложил Курчаев. — Не хотите ли поехать со мною?

— Нет, я не уйду отсюда до тех пор, пока его не найдут, — ответила Ольга. — Вот надо бы как-нибудь предупредить брата.

Её умоляющий взгляд обратился к королеве.

Та поняла её и, как ей ни было тяжело, согласилась и стала завязывать жгутом свои сильные распущенные и всё ещё влажные волосы.

— И вы уезжайте с ними, — сказала Ольга Маркевичу. — Я здесь посижу одна, пока придут спасатели.

— Нет, нет, как можно? Я вас не оставлю одну.

— Конечно... Конечно... — поддержал его Курчаев. — Я вот только отвезу Зою Дмитриевну, позову спасателей и, самое позднее, через три четверти часа буду здесь.

Ольга покорилась, хотя ей очень бы хотелось остаться совсем одной и так неподвижно сидеть у холодной и движущейся могилы брата.

Курчаев с королевой сели в лодку, и лодка, покачиваясь, отошла от берега.

— Скорее возвращайтесь! — крикнул на прощанье Маркевич, которому немного жутко было оставаться здесь вдвоём с Ольгой, но об этом лишнее было напоминать Курчаеву.

Он взмахнул вёслами раз-другой, и лодка скрылась за поворотом реки. Только всплески весел доносились ещё долго в вечерней тишине, но чем дальше, тем глуше. Наконец их совсем не стало слышно, и тишина кротко стояла на реке, начинавшей терять свой золотистый румянец, также как небо, деревья и облака, казавшиеся теперь фиолетовым дымом.

Королева успела в город засветло. Хотя она была убеждена почти, что Алексей не возвращался ещё с прогулки, тем не менее она прежде всего решила отправиться на дом.

Вечерело, когда она входила во двор их квартиры. Окна были не освещены. В сероватом сумраке у одного из открытых окон она увидела старуху Кашневу.

Мать сидела, подперев руками свою крупную седую голову, и ждала своих детей.

Сердце королевы так мучительно сжалось, что она должна была остановиться в нескольких шагах от неё.

Но старуха уже заметила барышню и, ожившись, ласково подозвала её к себе.

— Здравствуй, красавица... Что давно к

нам не жалуешь? Соскучилась по тебе... А где же наши-то? — несколько встревоженная, обратилась она к королеве, напрасно ожидая появления с нею знакомых фигур. — Где же Серёжа-то с Ольгой? Разве ты не с ними поехала?

— Нет, — солгала королева, чувствуя, что вот-вот разрыдается. — А Алексей Алексеевич ещё не возвратился? — поспешила она задать свой вопрос.

— Нет ещё, не возвратился, хоть обещал рано вернуться. Ну, да этот что... Сам себе барин, а вот Серёжа-то... Ох, уж мне эти лодки! Всё сердце изнаёт, пока дождёшься его. А тебе на что Алексей-то нужен? О-о-хо-хо-хо!.. — вздохнула она о Серёже.

Королева не приготовилась к подобному вопросу и, пробормотав что-то о деле, поспешила проститься со старухой, боясь, что не выдержит этой пытки.

— О-о-хо-хо-хо-хо!.. — провожал её печальный вздох матери, и королева всё представляла себе её озабоченно-грустное лицо.

Она стиснула на минуту зубы и закрыла глаза, стараясь отогнать приходившие ей в

голову страшные мысли. Сидя на извозчике, она обдумывала, как предупредить старшего брата.

Прежде всего она решила заехать домой, предупредить отца не беспокоиться, если её долго не будет, а потом на Светлую, откуда, она знала, компания Алексея отправилась на другой берег.

Дома ей сказали, что отец обходит палаты, и она пошла было его разыскивать.

Но лишь только она вышла на больничный двор, как ей стало жутко. В последнее время ей как-то стыдно было показаться на глаза отцу, а в эту минуту, особенно. В её глазах он был подвижником, пожертвовавшим собою для людей более несчастных. Год тому назад она тоже дала ему обет идти по его стопам, но любовь остановила её на распутье и довела до этой страшной катастрофы. Дикий вой сумасшедших, крики, песни и голоса вырывались из тускло освещённых окон, забитых железными решётками, за которыми виднелись искажённые безумием лица и бритые головы.

Она никогда не могла вполне привыкнуть

к этой картине, а теперь всё это особенно поразило её, и, приказав прислуге передать отцу, что надо, она поехала на Светлую, где стоял перевоз. Это было довольно далеко за городом, в противоположной стороне от места, где садились они.

Настала ночь, безлунная, тёмная, хоть и звёздная. На пристани было мрачно и глухо. Пахло рыбой, смолой, нефтью и рекой.

Нигде не виднелось ни одного огня. Всё спало, и чёрные силуэты лодок и барж неподвижно и уродливо рисовались во мраке. Дальше чернела река широко и пустынно, а за нею, на другом берегу, горел костёр; они должны быть там. Сама она не раз ездила туда с Кашневыми. Королеве стало ещё более жутко.

Что делать! Где найти лодку?

Ей попался хороший извозчик, старик, и она обратилась к нему со своим вопросом.

— Какая теперь лодка, барышня. Все спят, а кто не спит, пьянствует, чай, в трактире... Народ тут балованный! Пристань, одно слово... Да вам зачем это лодка-то об эту пору? — помолчав, подозрительно спросил извозчик.

— Вот туда мне надо ехать, — указала она на другой берег реки по направлению горевшего костра, свет которого по временам мигал: очевидно, его закрывали со стороны реки двигавшиеся там фигуры людей.

— А-а... К своим, верное гуляют? — догадался извозчик.

Она ничего не ответила и в нерешительности стояла около экипажа.

— Тоже погулять хочется, — продолжал старик, и видно было по тону, что он улыбался.

— Нет... Человека там мне одного нужно... Беда случилась, — вырвалось у барышни, и ей захотелось рассказать извозчику об этой беде.

— Б-е-е-да-а?.. — протянул старик.

— Да. Человек на Кармасане утонул... Парень лет семнадцати. Так вот его брата нужно, а он там, — объясняла королева, без подделки впадая в тон своего собеседника.

— Царство ему небесное... Божья воля... — снявши шапку и перекрестясь, отозвался извозчик... — Купался, видно, да плавать не умел?

— Да, — машинально ответила королева, и только тут перед ней вырос тревожный вопрос: нечаянно утонул Серёжа, или... Но она со страхом отогнала от себя последнюю мысль, смутно напрашивавшуюся к ней и раньше, отогнала потому, что эта мысль вела за собою много других мыслей, ещё более сложных и мрачных.

— Из господ, видно, парень-то?

— Из господ.

— Здешний?

— Здешний.

— Из чьих будет?

— Кашнев его фамилия. Младший брат архитектора.

— Алексея Алексеича?

— Да. А ты его знаешь? — живо спросила королева, и сама неприятно смутилась за эту живость.

— Алексея Алексеича-то? Ещё бы! Как не знать! Хороший господин! Ежели бы таких господ побольше, жить бы можно. Шагу не ступит пешком. Настоящий господин.

— Вот его-то мне и надо известить.

— Так подождите... Они скоро, чай, будут.

Какое теперь время-то?

Королева взглянула на часы и не без труда нашла стрелку.

Но стрелка показывала что-то совсем несообразное: половину шестого.

Это приблизительно был час, когда утонул Серёжа.

Она поднесла часы к уху: они стояли.

— У меня часы остановились, — заявила она. — Думаю, часов девять.

— Больше будет.

— Так делать нечего... Придётся подождать.

Она взглянула на костёр. Он всё ещё пылал, но как будто несколько слабее.

— Я Алексей Алексеича-то давно знаю, — вернулся старик к прежней беседе, видимо, желая поддержать приятный ему разговор с пассажиркой. — Когда ещё он сюда только что приехал. Лошадей было сначала-то завёл, да всё кучера-то к нему пьяницы попадались, что ни кучер, то пьяница, и лошадей портили. Ну, вот он и расстался с лошадьми. Да и то сказать, на что холостому человеку лошадей держать. Женатый — другая статья. А он, вон,

всё ещё не женится... боится, видно, что как в песне поётся: «Женишься, переменишься, потеряешь свою молодость».

Старик ещё продолжал что-то говорить дальше, но королеве стало неприятно слышать его дребезжащую болтовню. Ей хотелось полного одиночества, спокойствия и тишины.

Невдалеке от неё чернела огромная барка, на высокой мачте которой горел фонарь. Мачты не было видно, и фонарь казался звездой висящей в воздухе. На барку вели дощатые мостки, без перил, круто поднимавшиеся от земли прямо на палубу, где было безмолвно и пусто.

— Как думаешь, можно мне будет посидеть там на барке? — перебила она болтовню старика.

— Отчего же, чай, не можно! Курить только нельзя, может пожар загореться.

— Так я пойду туда, а ты подожди.

И она направилась по крутым и стибавшимся под её ногами доскам вверх на палубу, размышляя о том, как странно отнёсся старик к этому ужасному происшествию.

«Божья воля», говорит, и больше ничего, в то время, как о «хорошем господине», его живом браге, готов говорить, сколько угодно. Говорит: «Хороший господин, шагу пешком не ступит». Как мало нужно, чтобы прослыть «хорошим господином», не без злорадства подумала королева. Впрочем, со своей точки зрения он прав. Все со своих точек зрения правы! Ах, да не всё ли это равно?!

Она тут же устыдилась, что её занимают подобные мелочи, и вступила на палубу, заваленную мочалой, канатами, пустыми бочонками, издававшими неприятный запах рыбы, и мешками.

Несколько раз споткнувшись об эти предметы, королева перешла на другую сторону палубы и отыскивала местечко на корме, где и села у самого борта.

Внизу чернела вода. Над нею сверкало звёздное небо. Эти звезды сияли так гордо и холодно, точно презирали землю со всеми её превратностями.

Отражения наиболее крупных звёзд золотыми змеями трепетали на воде и уходили в глубину, но река была тоже тёмная, непри-

ветливая и тоже чуждая и земле, и звёздам.

Она текла холодно и угрюмо, как будто проклятая кем-то и бессильная остановиться в своём вечном движении.

Иногда вся она казалась бесконечно-длинною, широкою, тёмною лентою, которую тянет издали чья-то невидимая рука, и эта лента опоясывает всю землю.

От неё веяло одиночеством и могилой.

Шум её внушал королеве невольный трепет. Стремительная здесь, вода разрезалась о барку с лёгким ропотом и плеском, похожим на бормотанье безумных, и неслась дальше, шурша о борта, точно шёлковый шлейф траурного платья.

Королеве казалось даже, что в напряжённой ночной тишине она слышит, как течёт река и дальше, где её течению дан полный простор, слышит её дыхание, — дыхание существа, удручённого тяжким горем, которому нет спасения.

Королева стала пристально всматриваться в воду, точно стараясь найти в ней разгадку её тайны, и вдруг едва не вскрикнула и закрыла глаза от ужаса: ей показалось, что ми-

мо барки, почти касаясь её, проплыло что-то белое и длинное, похожее на труп.

Ей смутно вспомнилось то, что говорили рыбаки, то есть, что труп из Кармасана течением может вынести на Светлую, а потом сообразила, что покуда ещё он не может подняться на поверхность со дна.

Но, рассеяв этот нелепый страх, она уже не могла остановить мыслей о Серёже, с которыми боролась всё время, как со своими врагами. Всё вокруг как будто сговорилось напоминать ей о нём, и она покорила этим мыслям.

Сначала они были бессвязны и хаотичны. Это были скорее образы, а не мысли. Ей представилось кладбище... лицо Серёжи... могильщики... камень с курьёзной надписью, и опять он, с рыданием обхвативший деревянный крест.

Лодка... река... остановившиеся часы... безумные лица за решётками, и опять он, с её письмом в руках, с сапогом, испачканным глиной. Ещё какие-то клочки, по-видимому, не идущих сюда впечатлений: лицо Алексея, каким она видела его в последний раз в пар-

ке, когда он был там с Можаровой и смутился, неожиданно встретив королеву в одной из глухих аллей... Рыбак с трубкой... Старуха-мать у окна и многое другое.

Всё в общем отрывочное, смутное, но полное какой-то, покуда ещё неуловимой, внутренней связи.

Затем в эти картины стали вплетаться отрывки разговоров, слова, мысли, ощущения, которые вспыхивали в памяти, озаряли беспорядочные образы и открывали между ними сверхъестественную связь.

«Что же это такое?» — задала она себе вслух вопрос, когда в уме одно за другим стали всплывать сами собою напрашивавшиеся заключения и вместе с тем жуткий страх проникал всё её существо... «Что же это такое?»

Ей совершенно ясно вспомнились его разговоры о предчувствии и смерти...

Свеже-вырываемая могила и его неожиданная вспышка на кладбище, и слёзы.

Возмездие, пришло ей на память слово, которое было у неё на уме нынче днём в минуту озлобления, но от которого она тотчас же тогда отреклась.

Возмездие кому? За что? Возмездие ли это за неё, за её оскорблённую любовь, или возмездие ей за её преступление, за её грех, за её порочность и бессердечие?

Разве не была порочной её любовь к Алексею? Разве эта любовь не довела её до такого унижения, что она написала ему письмо, полное отвратительных слов, одно воспоминание о которых теперь оскорбляло её, как прикосновение рук с прилипчивою болезнью? В эту минуту она сама себе казалась покрытой грехом и преступлением.

И в каждой мелочи она находила новые доказательства своего унижения, новые поводы к тому, чтобы обвинить себя.

— О, я низкая! Низкая! — вырвалось у неё вслух. — Так мне и надо! Так мне и надо!

Горькое чувство презрения к себе и раскаения в своём эгоизме, как едкий дым, клубилось в груди и вызывало на глаза скудные слёзы, которые оставались там, уплывали куда-то и появлялись снова, чуть-чуть смачивая веки. Она чувствовала себя одинокой в своём несчастье и всеми отверженной. У неё остался только отец, перед которым она могла бы

излить свои муки; но она согласилась бы скорей умереть, чем покаяться отцу в своей низости.

И ей стало завидно Серёже, который остался таким чистым и теперь уже не чувствует ничего, что так загрязняет и мутит жизнь. Его любовь была благословением смерти, а что такое её любовь, любовь всех, кого она знает? Это только порок, зло и отвращение.

И ей стало жаль себя, жаль за то, что её любовь, когда-то бывшая такой же чистой, как любовь Серёжи, замутилась и загрязнилась ласками, которые всё считают высшею радостью любви, но которые составляют, на самом деле, её нечистое зло. Этих ласк желал он, человек, которого она любила; он уверял её, что эти ласки — венец любви, и она поверила ему и погубила свою любовь.

Она взглянула на воду, и тот холод, которым вода дохнула на неё, испугал её, как холод могилы. Да, она теперь боялась умереть, и если утром уверяла Серёжу, что любит кладбище, то только потому, что сильнее сознавала на кладбище трепет и силу своей собственной жизни. Что же касается всех её рассужде-

ний о том, что на кладбище кажутся ничтожными все личные горести, так это только слова, в которые она сама верила единственно потому, что у неё ещё не было до последнего момента таких горестей, *настоящих*, для которых надо созреть и возвыситься, иначе она не написала бы на кладбище своего низкого письма.

И этим письмом, кроме гордости, теперь возмущалось её нравственное чувство, видевшее в нём доказательство глубокого падения.

Но если королева не могла любить, как прежде любил Серёжа, то и так любить, как она любила, когда писала это письмо, она уже теперь не станет и не может.

Она взглянула туда, где всё ещё горел, хотя уже значительно слабее, костёр, и, представив себе Алексея вместе с Можаровой, скорбно улыбнулась. Теперь это представление уже не возбуждало в ней ни острой ревности, ни зависти, ни ненависти к своей сопернице. Ей скорее было жаль её и жаль Алексея, и вместе с тем то, что они считали счастьем, возбуждало в ней почти брезгливость.

Горечь её не ослабела, но уж теперь не бы-

ло и той ошеломляющей смятенности чувств, которая ломала её, как болезнь и вырывала невольные стоны из души.

Её покорила ночная тишина и усталость, начинавшая овладевать ею после страшного нервного подъёма.

Она сняла шляпу с головы. Свежесть ночи охватила её голову с волосами, всё ещё продолжавшими носить в себе влагу.

Тишина и одиночество были теперь приятны ей, и она уже не пугалась их и не искала в каждом звуке вокруг, в каждой черте суеверных ужасов и намёков на происшедшее несчастье.

Она могла бы просидеть так всю ночь, и ей не хотелось, чтобы они поскорей приехали: надо будет разговаривать, отвечать...

Она вся отдалась печальным, но тихим думам. Вдруг по воде донеслись к ней издали глухие звуки человеческих голосов и как будто плеск весел.

Она, напрягая зрение, стала всматриваться вперёд, туда, откуда доносились эти звуки, но ничего не могла увидеть; взглянула на костёр: он погасал.

Несомненно, они уехали.

Потом всё как будто затихло, точно ожидая чего-то, и вдруг в этой тишине, уже гораздо явственнее, зазвучали два голоса: сначала мужской, затем женский.

Она сразу узнала невысокий, симпатичный: баритон Алексея. Женский голос, несомненно, принадлежал Можаровой.

Мужской голос начинал solo модный романс:

«Dammi ch'ìoli bi l'alito Che dal tuo labbro spira».

Затем слова сливались с мотивом, и сопрано сильно схватывало последние ноты и продолжало:

«E nel bla to amplesso saro felice appien...»

Река подхватывала эти стройные возбуждённые голоса и несла их вдаль, как две обнявшихся, звучащих страстью души.

Чем ближе, тем пение становилось всё отчётливее, но и эти дружные звуки нисколько не взволновали королевы.

«Saro felice», — страстно повторял баритон и вдруг оборвался на не особенно высокой ноте... Послышался громкий смех, и громче всех

смеялся он сам.

Голоса, перебивая друг друга, кричали «bravo» и ещё что-то, чего уже совсем нельзя было разобрать. Чей-то женский голос вскрикнул: «Ай! Не качайте лодку, опрокинемся...» — подхватил другой голос, мужской. «Видите, какая здесь быстрина!» «Ой, кто это брызнул на меня водой?..» «Давайте перего- няться...»

И снова слышались смех и шутки, вместе с плеском вёсел, который становился всё слышнее и отчётливее.

Смущённая этим весёлым шумом, река хватала голоса и звуки и несла их, подобно ветру, вдаль, как будто для того, чтобы они не успели потревожить спящих во мраке берегов.

Скоро тёмные силуэты лодок можно было разглядеть с берега. Они мчались наперерез течению гораздо выше того места, где сидела королева, но течение сносило их вниз. Наконец в обеих лодках можно было разглядеть силуэты фигур и даже огонёк папиросы, который описывал по временам дугу, когда курящий брал изо рта папиросу или подносил её

ко рту.

Лодки стали приставать саженьях в десяти от королевы, причём снова слышались преувеличенно-испуганные и весёлые крики и восклицания. Кто-то из мужчин попал в воду и вызвал новый взрыв смеха. Но среди всех этих голосов королева только и разобрала голос Кашнева, немного охрипший после бравадного пения на сыром и посвежевшем воздухе.

Тогда она, с бьющимся сердцем, снова пробралась между остропахучих бочонков, мочала и канатов по мосткам, сошла на берег и пошла навстречу компании, шумной гурьбой поднимавшейся по косогору.

Впереди шёл Кашнев под руку с Можаровой. В его губах красноватой точкой светилась папироса, и когда он затягивался ею, огонь папиросы освещал его усы, рот и кончик носа.

— Ура! Извозчик есть, — заметив экипаж и лошадь, возгласил Кашнев, но не успел он ещё крикнуть его, как заметил идущую навстречу королеву.

— Зоя Дмитриевна, — пробормотал он, по-

ражённый, не веря своим глазам.

— Мне вас нужно по очень важному делу, — с волнением выговорила она, стараясь придать своему лицу внушительную суровость.

Он пробормотал извинение, машинально оставил руку Можаровой и сделал два шага к королеве.

Можарова хихикнула, оставшись одна, и, соединившись с толпой, стала шептаться. Все были также изумлены неожиданным появлением девушки.

— Смело! — донеслось до Кашнева чьё-то слово. Кашнев быстро обернулся назад и одним своим взглядом оборвал возбуждённый шёпот и смешки.

Но королеву это даже не возмутило. Она слишком была занята мыслью о том, как поосторожнее предупредить его о несчастье.

— Я вас ждала. Поедемте со мною, — сказала она с волнением.

— К вашим услугам, — ответил он.

Пошлое подозрение, что её привела сюда ревность — подозрение, невольно явившееся у него, как и у всех, сразу уступило место

иной тревоге. Он ещё раз извинился перед опешившей компанией и пошёл за королевой к извозчику.

Извозчик спал; его не сразу удалось растолкать.

— Что случилось? — обратился Кашнев к королеве, когда они сели в экипаж, и на неё пахнуло коньяком, к которому он всегда чувствовал пристрастие.

Она не знала, как сразу ответить, и, тяжело дыша, всё ещё собиралась с мыслями.

Вдруг он схватил её за руку и изменившимся голосом произнёс только одно слово:

— Серёжа?!

Она обернулась к нему и увидела ужас ожидания к его широко-открытых глазах. Ей стало его жаль. Она молчала.

— Утонул? — глухо договорил он, нагибаясь к ней, и заранее зная ответ.

— Да.

Пальцы его, сжимавшие её руку, разомкнулись и мгновенно похолодели. Он как-то вдруг весь опустился, и у него вырвался не то вздох, не то стон.

— Когда это случилось?

— В половине шестого.

— Он купался?

— Да.

— Один?

— Нет, с Курчаевым и Маркевичем.

— Как же они могли допустить чтоб он утонул?

— Они не видели. К тому же они не умеют плавать.

— Как не видели? Но ведь он кричал?

— Нет... Даже пузырей не было.

— Что же это значит?

— Не знаю.

— Труп вытащили?

— Нет. Не нашли. Сейчас поехали туда спасатели.

— Боже мой! Боже мой! Мама! Бедная мама! — простонал он, закрывая лицо руками. — Она с ума сойдёт. Ведь он только один и был у неё! Нас она считала уже отрезанными ломтями, а он был её ребёнок. Она с ним никогда не расставалась... Бедная мама! Она не перенесёт этого.

В его голосе дрожали сухие рыдания. Он был подавлен этим несчастьем и страдал

ужасно.

— Серёжа мой! Бедный мой мальчик! Как это ужасно! Зачем он не поехал с нами? Зачем я сам... — упавшим голосом добавил он и не закончил этой фразы, чувствуя, как больно она пронизала сердце.

— Это ужасно! Это ужасно! — вырвалось у него. — Во всем виноват я, я один... Боже мой! Боже мой! Мама! Бедная мама!

Сухие, запёкшиеся губы его вздрагивали, и он качал головой, как при невыносимой зубной боли.

— Успокойтесь, не вы один виноваты, — тихо возразила она, чтобы успокоить его.

— Что ты хочешь этим сказать? — сразу переходя с ней на «ты», поднял он в подозрительной тревоге голос, прямо глядя в её глаза.

Но у неё не хватило духу высказать то, что за несколько минут перед тем, когда она одна сидела на барже, приходило ей в голову. Мало того, она сама опять готова была сомневаться в этом и, отведя в сторону свои глаза, прошептала:

— Ну, да... Нельзя было допускать его без присмотра купаться.

Но уже смутное подозрение запало ему в душу.

— Как это случилось? — возобновил он расспросы.

— Что?

— Что он утонул?

Она рассказала ему всё, что знала, со всеми подробностями.

— Странно... — нахмурясь, пробормотал он. — Никакой борьбы... даже пузырей на поверхности... Странно...

Она ничего не сказала, но неотвязная и мучительная мысль сверлила его мозг, и вдруг, вспомнив, Бог весть почему, о письме, он ещё больше нахмурился. Одновременно с этим ему вспомнилось лицо Серёжи и разговоры матери и сестры о его бледности.

Он ощутил холодное нытьё в суставах и не сразу обратился к ней с расспросами.

— А каков он был перед этим? Печален или весел? Молчалив или разговорчив?

— Молчалив, особенно вначале, — не сомневаясь в его подозрениях, ответила она, как отвечают обвиняемые. Но зачем же он хотел мучить и себя, и её этими расспросами?

Ведь он сам был не обвинитель, а сообщник её, если все произошло так, как можно подозревать.

— Утром он гулял с тобою... по кладбищу?

— Да.

— Не намекал он ничего такого?.. — решился Кашнев ещё яснее высказать свои подозрения.

— Ах, зачем ты всё это спрашиваешь? Не всё ли равно... Поздно! — не выдержала королева, тоже переходя незаметно на «ты», хотя ни на одну минуту не чувствуя уже прежней близости с ним, даже при таком тесном соседстве.

— Зачем? — почти со злобой переспросил он. — Зачем?.. Разве ты не понимаешь, зачем?

Ясно и определено ответить на этот вопрос он, однако, не мог бы и сам. Горю помочь всё равно было уже нельзя.

И всё же непонятное чувство удержало её от того, чтобы рассказать ему всё, что она могла рассказать: и о прогулке на кладбище, и о их беседе о смерти и предчувствии, и о его слезах, и обо всём. Может быть, она бессознательно щадила Алексея, так как подобное от-

крытие принесло бы ему такое же страдание, как и ей самой, но он не мог уже оставить этот вопрос неразрешённым, как не может не плыть к берегу человек, упавший в воду, хотя бы на этом берегу его грозили поглотить чудовища.

Её уклончивость только подтвердила ему его подозрения, но он не стал больше ни о чем расспрашивать её, также, может быть, из пощады, бессознательно, однако заранее выгораживая её и во всём обвиняя себя.

— Мама ещё ничего не знает? — неожиданно перешёл он к другому вопросу.

— Вероятно, ещё нет.

— А где же Оля?

— Там.

— Мы куда же сейчас едем?

— На спасательную станцию, узнать, нашли ли труп.

— О, его необходимо найти, иначе мама сойдёт с ума! Ах какое горе! Какое горе! — снова вырвалось у него, и он опять в изнеможении закачал головой.

Было часов около одиннадцати ночи, когда они приехали на спасательную станцию.

Там уже все спали, но их встретил Маркевич, усталый и измученный.

— Нет, не нашли, — возвестил он мрачно. — Положим, спасатели приехали туда довольно поздно, но всё же искали, кажется, добросовестно.

— Надо найти, во что бы то ни стало! — выкрикнул Кашнев. — И я найду его завтра!

— А, может быть, и в самом деле снесло?.. — нерешительно возразил Маркевич.

— Я найду его! — упорно повторил Кашнев. — Иначе мать сойдёт с ума.

— А Ольга? — спросила королева Маркевича, вспомнив, что Ольга оставалась с ним там.

— Мы уговорили её уехать оттуда. Едва-едва удалось... будто окаменела. Не хочет ехать, пока не найдут труп, и конец: точно боялась, что кто-нибудь найдёт его и утащит. Мы уж воздействовали таким образом, что она, дескать, дома нужнее для матери.

— Одна она поехала домой? — встревоженно спросил Кашнев.

— Нет с Курчаевым.

— Значит, мать всё знает! Что с ней теперь?! Я должен ехать домой.

— Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? — спросил его студент.

— Нет, благодарю вас, — поблагодарил Кашнев. — Вы, вероятно, и без того устали, а у нас я, наверное, найду Курчаева.

— Да и вы тоже. Вам сегодня особенно много пришлось пережить, — с заметным оттенком заботы и нежного внимания, мягко, обратился он к королеве, задержав её руку в своей руке, точно безмолвно прося у неё извинения за что-то.

— Хотите, я довезу вас домой. Ведь это по пути?

— Нет, благодарю вас, поезжайте. Мы поедем вместе с Александром Леопольдовичем. Вот, кстати, и другой извозчик, — ответила она, устало направляясь к своему, успевшему снова задремать, вознице.

— Ну, до свиданья. Благодарю вас, — раздалось из мрака.

Он крикнул извозчика, и, успев прежде их сесть в экипаж, приказал ему ехать как можно скорее домой.

По заплаканному и испуганному лицу горничной он понял, что дома уже всё известно, и бросился в комнату матери.

Дверь туда была затворена, и за дверью было тихо, точно комната опустела.

Алексей остановился перед дверью. Сердце его сжималось с такой мучительной болью, что ему самому хотелось упасть и сжаться в комок: его испугала и поразила эта тишина.

Но, может быть, мать была в другой комнате?

Он постучал и услышал голос матери:

— Войди.

«Не знает!» — решил он про себя и отворил дверь.

Первое впечатление могло только подтвердить эту мысль: мать его сидела в кресле, сестра — на кровати, а у стола — Курчаев, всё в таком положении, как это бывает в час отъезда, когда по обычаю и отъезжающие, и провожающие их на одну минуту присаживаются на чем попало.

Но это впечатление тотчас же разрушилось, когда он взглянул пристальнее на мать; она грузно сидела в кожаном кресле со свесившеюся на грудь головою, с руками, как деревяшки, упавшими по обе стороны кресла.

Глаза её были неподвижны и окаменелы. Нижняя челюсть дрожала, чего прежде никогда не замечалось в её лице, и углы губ страдальчески-некрасиво опустились книзу.

Лицо Ольги и даже поза её поразительно напоминали в эту минуту мать. Курчаев сидел, положив свои огромные руки на колени, ладонями вверх и с сосредоточенным видом кусал нижнюю губу, отчего мускулы левого глаза его шевелились и от него расходились морщины.

В комнате, кроме лампы, горела лампадка перед образом Николая Чудотворца. Не поднимая головы, старуха повела помутневшими глазами на сына и, видя по лицу его, что он всё знает, спросила глухо:

— Не нашли?

— Нет, не нашли, — растерянно ответил он. — Я, как станет рассветать, сам поеду и даю тебе слово, мама, что найду его.

— Найди, Алёша. То — дело Божье. Бог дал, Бог и взял, — со страшным спокойствием и покорностью выговорила старуха. — На то Его святая воля. Он взял, Он и найти тебе поможет. Ведь надо же старухе-матери дать проститься-то с сыном!

Последняя фраза вырвалась у неё каким-то глухим стоном. Нижняя челюсть задрожала ещё сильнее, но, подавив подымавшийся в её душе отчаянный протест против чьей-то неумолимой воли, отнявшей у неё сына, она с тем же глухим спокойствием прибавила:

— Да и похоронить-то надо бы по православному... хоть и утопленник он.

— Хорошо, мама... я найду. Даю тебе слово, я найду, — повторял Алексей.

— Ну, слова не давай, а лучше Бога попроси; чтобы Он помог тебе в этом. А то не переживу я, коли не увижу его.

Но, вероятно, мать плохо надеялась на религиозность сына.

— Я и сама помолюсь об этом Николаю Чудотворцу. Тот услышит материнскую мольбу, — мрачно взглянув в передний угол, произнесла она. — Ну, а теперь идите с Богом.

Время-то уж позднее... Долго ли до рассвета-то?

Алексей взглянул на часы.

— Теперь половина первого. Часа два ещё. Я, пожалуй, поеду сейчас, чтобы к рассвету быть там.

— Нет, ты лучше бы отдохнул эти два часа-то. Всё равно ночью не станешь искать.

— Какой уж тут отдых!

— Ну, как хочешь, Бог с тобою. А ты, — обратилась она к дочери, — беспременно иди и усни.

— Нет, мама, позволь мне остаться с тобою.

— Помолиться хочешь с матерью? Ну, что ж, оставайся, помолимся вместе.

Алексей поцеловался с матерью. Курчаев поклонился ей, готовясь уходить. Она с усилием протянула ему руку.

— Прощай, родной.

— Зайдёмте на минутку ко мне, — обратился к Курчаеву Кашнев, когда они вышли из комнаты старухи.

— Может быть, и мне поехать с вами? — предложил Курчаев Кашневу, думая преду-

предить просьбу того.

— Нет, я не о том хотел просить вас. Вы, прежде всего, точно обозначьте мне место, где утонул Серёжа.

Курчаев стал было рассказывать, но, оказывается, Кашнев хорошо знал это место сам.

— Теперь... как это произошло? Со всеми подробностями...

Курчаев рассказал и это, причём даже наглядно показал, как Серёжа пятился в воду от берега.

— Ну, а потом?..

— Потом черт меня дёрнул заняться у воды своей особой! — сокрушался он. — Взглянул, а его уж нет.

— И пузырей даже не было на этом месте?

— Ничего. Словно в воду канул... Ну, то есть, я хотел сказать, словно его и не было совсем, — поправился он. — Верно, как шёл, да оступился в яр, так со страху лишился чувств, а может быть, сразу захлебнулся.

Алексей простонал, заломил руки над головою и хрустнул пальцами. Затем он зашагал из угла в угол, продолжая расспрашивать Курчаева о том, в каком настроении был его

брат, когда они ехали на лодке и приготавливались купаться.

Тот с некоторым недоумением отвечал на эти расспросы.

— Так, так... Спасибо вам, — поблагодарил его Кашнев. — Сейчас я поеду туда и уверен, что найду его труп. Вероятно, его искали только на этом месте и вниз по течению, и никому не пришло в голову, что там течение отбивается от двух берегов и заворачивает назад.

— Так я, если угодно...

— Нет, нет, спасибо. Зачем вам беспокоиться.

Курчаев и сам знал, что никакой существенной пользы он принести не может, а усталость давала себя знать: он чувствовал себя совершенно разбитым, и ему хотелось поскорее лечь в постель и забыться.

По уходе его Кашнев тотчас же схватился за письмо Зои Дмитриевны. Оно так и лежало, вложенным в конверт, оборванный сбоку.

Оставив в покое письмо, он подошёл к столу и стал тщательно разглядывать конверт около самой лампы. Конверта, был крепко за-

клеен, и притом на нём были заметны ниже краёв свежие следы гуммиарабика.

У Кашнева опустились руки.

Он поднялся наверх в комнату Серёжи, зажёл там свечу и прежде всего, как новое подтверждение своего открытия, увидел на столе гуммиарабик, но того, что он надеялся найти, то есть, какой-нибудь записки Серёжи или дневника, он не нашёл, хотя тщательно осмотрел все ящики стола и даже пошарил в карманах его платья.

Кашневу тяжело было оставаться в комнате Серёжи, такой всегда чистой и прибранной, точно это была спальня девушки. Живая душа отлетела отсюда, и два окна её, в которые глядела ночь, казались мёртвыми, холодными глазами.

Кашнев поспешил сойти к себе, лёг вниз лицом на свою кушетку и долго так лежал неподвижно, закрыв лицо руками. Но в эту минуту у него как будто не было ни души, ни чувств, а было какое-то нитьё во всем теле и такая тяжесть, точно он был налит свинцом.

Постепенно, однако, эта тяжесть уходила куда-то вместе с нитьём, испарялась, и вме-

сто этого душа обливалась слезами, которые наконец хлынули у него из глаз, сопровождаемые сильными и глубокими рыданиями.

Он рыдал долго, не поднимаясь и не отирая лица, мокрого от слез. Слезы его лились на руки и по щекам, смачивали усы и бороду и попадали в рот.

Он не только не хотел остановить их, а наоборот, давал им полную волю, и ему были приятны они и даже та дрожь, которую вызывали в его теле рыдания.

Когда же он выплакался, мысли и душа его как будто прозрели, но он ещё лежал совершенно неподвижно, точно боялся, что когда встанет, опять почувствует ту же тяжесть и то же нитьё в теле. Его заставила подняться мысль, что пора ехать. Он медленно приподнял голову и сел на диван.

Свет лампы ударил в его заплаканные глаза и заставил их сощуриться.

Затем он снова открыл их, и весь его кабинет и все вещи как будто предстали ему в новом свете.

Он намочил полотенце холодной водой и вытер себе лицо: это его освежило; он ощу-

щадил некоторое облегчение, хотя всё тело его было точно в лёгкой лихорадке. Самая смерть Серёжи ему не представлялась уже теперь столь мрачной, как за час перед тем. В его душе ещё жили следы этой великой веры, которая помогает с необычайною покорностью переносить самые ужасные удары судьбы и самую мучительную и душевную, и телесную пытку, которая помогла его матери вынести своё безмерное горе.

«Божья воля!» Да, тут действительно была Божья воля, и Кашнев ощущал её на себе. Ещё он не сознавал ясно, что она принесла ему, но он уже чувствовал её могущество. Эта воля со смертью Серёжи должна была научить его чему-то такому, чего не могли внушить ни жизнь, ни книги, ни даже религия, от которой он, впрочем, давно уже отстал, хотя и был воспитан в религиозной купеческой семье.

Перед ним, правда, ещё туманно и смутно, уже открывались новые горизонты, и новые голоса, правдивые и смелые, заговаривали с сердцем. Может быть, всему этому скоро суждено исчезнуть, но бесследно исчезнуть оно не могло. По крайней мере он знал, что сдела-

ет теперь же... завтра... послезавтра...

С отвращением вспомнилась нынешняя поездка и Можарова.

«Ах, если бы этого не было. Как я мог! — прошептал, он про себя. — Как я мог...»

В его воображении промелькнула королева, но он уже не старался отогнать от себя её образ, как в последние дни, когда чистота её, несмотря на близость их отношений, начала смущать и пугать его до того, что ему становилось неловко в её присутствии, и он стал избегать её, находя гораздо больше удовольствия в обществе Можаровой и подобных ей, как пьяница избегает и боится общества трезвых людей.

Он взглянул на часы: было два часа.

Проходя мимо комнаты матери, он заметил, что дверь немного открыта, и ему захотелось поцеловать и мать, и сестру.

Он тихо приотворил дверь и увидел обеих перед иконами.

Горела только одна лампада перед образом, переливаясь по тиснёной серебряной ризе. Когда дверь отворилась свет лампады метнулся, как испуганный, но, точно видя, что

пришёл свой человек, снова успокоился и стал сиять слегка колеблющимся пламенем.

Мать и дочь были так заняты молитвой, что даже не обернулись к нему.

Он видел их спины и головы, то поднимающиеся, то опускающиеся вниз, и слышал шёпот матери, глубокими вздохами вырывающийся у неё из груди. В этом шёпоте чаще всего слышалось слово «Господь», повторяемое протяжно и с мучительными придыханиями, и в то время, как она повторяла это слово, рука её двумя длинными сухими пальцами так крепко прижималась ко лбу, что третий, большой палец отставал. После этого она касалась лбом пола, долго не поднимала головы и будто замирала, а потом с трудом выпрямлялась снова и долго внушительно читала молитву со страстною настойчивостью и верою.

Сестра молилась как будто без слов, тихо и неуверенно совершая крестное знамение. Но та же сила молитвы светилась у неё в лице, когда она смотрела на икону широко открытыми глазами, в которых двумя огненными точками отражалось пламя лампадки. И по-

тускневшая икона Николая Чудотворца казалось оживала при этой молитве. После этого голова молящейся в изнеможении откидывалась назад, глаза закрывались, и с теми же закрытыми глазами она касалась затем пола челом.

Кашнева также охватила эта трогательная атмосфера молитвенного настроения. Ему также захотелось молиться, и он опустился на колени позади молившихся рядом женщин.

Первые молитвенные слова, пришедшие ему в голову, были: «Боже, милостив буди ми, грешному».

Он произнёс их с давно незнакомою искренностью и затем стал повторять их всё с большею и большею страстностью; когда же поднялся на ноги, сестра обернулась к нему, а за нею обернулась и мать.

Молитва сына, видимо, растрогала её, хотя лицо её продолжало выражать то же окаменелое горе, и нижняя челюсть дрожала по-прежнему.

— Спасибо тебе за это, — проговорила мать, когда Алексей подошёл к ней и помог

встать на ноги. — Спасибо.

Она поцеловала его в лоб и перекрестила. Он поднёс её сухую, пахнувшую деревянным маслом, старчески-жилистую руку к своим губам и прильнул к ней долгим поцелуем, потом быстро выпрямился и, поцеловав сестру, сказал:

— Ну, теперь я еду туда.

— С Богом. Помоги тебе святые угодники, — напутствовала его старуха.

И, умилённый всей этой картиной и настроением, с такой силой охватившим его, он вышел на воздух.

Ночь встретила его свежим дыханием и блеском звёзд, которые перед рассветом горели особенно ярко и торжественно, точно неисчислимые лампы, пламя которых, казалось, тоже колебалось и вздрагивало.

Город спал, и только где-то вдали усталой дробью трещала колотушка. Ни огней, ни стука экипажей. Даже уличные керосиновые фонари начинали уже погасать, не дождавшись рассвета.

Кашнев крикнул извозчика. Крик его как-то дико отозвался в сонном воздухе. Вторично

ему кричать не хотелось, да это было и бесполезно. Несколько извозчиков спали теперь во всем городе только около клуба, а другие все предпочитали почивать дома, так как город был хотя и губернский, но очень патриархальный. Кроме того, большинство обывателей держало своих лошадей.

Он пешком дошёл до спасательной станции и приказал разбудить дежурного. Но тот был так недоволен тем, что его потревожили во время самого сладкого предутреннего сна, что наотрез отказался ехать или снарядить кого-нибудь из матросов. Кроме того, вчера, по случаю неожиданного щедрого заработка, спасатели здорово выпили.

— Это дело не наше. Вот если бы на Светлой утопление, тогда дело двенадцатого рода, потому как Светлая в губернии, а Кармасан — это уезд. Нам, пожалуй, ещё от уездной полиции нагореть может, что не в своё дело суёмся.

— Но ведь вы ездили же?

— Мало ли что ездили... сгоряча. Приехала барышня. Поезжайте, да поезжайте, ну, мы и поехали.

— Но ведь я за это заплачу.

— Покорнейше благодарим... всё едино. Да и что ж даром деньги-то от вас брать. Ведь искали, не нашли, значит, снесло его вниз. Вот через три дня вынырнет, где ни на есть.

Он последние слова договорил с такой немилосердной зевотой и так сонно, что Кашнев махнул на него рукой и приказал, по крайней мере, дать лодку.

Тот, хоть и не особенно охотно, продолжая всё так же зевать и крестить во время зевоты рот, чтобы не влетел черт, захватив весла, сошёл к берегу и стал отвязывать для Кашнева лодку.

— Вот вам однопарная, лёгкая, — рекомендовал он, бросая в лодку весла. — Там и верёвка есть. Может, пригодится.

— Ай, батюшки! — неожиданно раздалось оттуда, и чья-то фигура быстро вскочила на ноги.

— С нами крёстная сила! — испугался спасатель. — Кто это?

— Я, дяденька, — отозвался хриплый спр-сонья голос мальчишки лет четырнадцати.

— Да кто ты-то?

— Митька, который вчера вам всё за водкой бегал.

— А-а... Леший тебя побери, напугал! Ты что же это в лодке расположился, вместо того, чтобы дома спать?

— Да у меня никакого и дома-то нет. Я сирота.

— Ну, сирота, что отворяет ворота... Хочешь с барином на Кармасан за утопленником ехать? На водку получишь!

— Хочу. Я в лучшем виде вас на Кармасан доставлю.

Кашнев подумал и решил взять с собою мальчишку. Если он и не принесёт пользы, то всё же живой человек.

— Ладно. Едем. Только набери штук десять камней, вот таких, — указал он на валявшиеся на берегу камни. — На всякий случай.

Мальчишка набрал камней в лодку и хотел сесть на весла, но Кашнев взялся за весла сам.

— А что же я-то барином буду сидеть? — иронически спросил мальчишка.

Кашнев, вместо ответа, погрузили, весла в воду и, сразу почувствовав в мускулах и в гру-

ди силу, выгнал лодку вперёд.

Тут её подхватила река и наискось понесла вниз, точно стараясь предупредить каждое новое усилие гребца.

Но весла почти без шума и плеска впились в воду и сверлили реку пенящимися раковинами. Кашневу хотелось физической работы, и он, захватывая грудью полные лёгкие влажного и чистого воздуха, грёб с такою силою, что веслагнулись, и лодка как будто пыталась сделать прыжок по воде.

Вода шумела и журчала, возмущённая тем, что так дерзко нарушают её покой, но уступала и смирялась, сглаживая позади резкие и грубые морщины.

От этого воздуха и от этой работы, отвлекшей его от печальных и угнетающих мыслей, он как будто опьянел и не переставал работать, хотя ему хотелось сбросить с головы фуражку, под которой вспотели волосы, а губы начинали сохнуть от жажды.

— Ну, и летим. Чисто локомотив, — воскликнул Митька. — Ветер даже навстречу... Хорошо бы теперь папиросочку, — помолчав, совершенно неожиданно прибавил он.

Кашнев опустил весла, и лодка понеслась по течению сама.

Тёмная широкая река, со вздрагивавшими кое-где отражениями звёзд, сильно и гордо шла в своих безмолвных берегах, смутно выступавших из предрассветного мрака. Кое-где на том и другом берегу слабо маячили огни. Кашнев снял фуражку и отёр пот со лба, затем слегка склонился с борта и опустил руки в воду, чтобы напиться горстями.

Вода показалась ему страшно холодной, и это ощущение заставило Кашнева вздрогнуть всем телом. Там, на дне реки, в такой же холодной и тёмной воде лежал его брат.

Он глотнул воду, но она показалась ему противной, и он не стал пить её дальше, а, чтобы уничтожить этот неприятный вкус во рту, закурил папиросу, давши папиросу также и мальчишке.

Им вдруг овладела усталость, и он передал ему весла, а сам сел на его место.

Ночь, стойко боровшаяся с рассветом, дышавшим с востока золотистым пламенем, дрогнула и стала уступать. И небо, и воздух, и вода — всё сразу заметно побледнело, и звёз-

ды сверкали уже не с прежнею яркостью.

Стало прохладнее, и река задымилась лёгким туманом у берегов.

А когда лодка подошла к Кармасану, воздух уже был серым, предметы бледно и прозрачно рисовались в нём, алели небо и вода, и звёзды стояли в вышине, уже не отражаясь в речном зеркале.

С берегов пахло росистыми травами и землёй. Чёрные безобразные коряги выступали из воды, точно речные чудовища, и рыбы начинали плескаться то там, то здесь, оставляя на поверхности лёгкие расходящиеся круги.

— Вам кто утопленник-то приходится? — спросил Митька.

Кашнев, как во сне, взглянул на него и только теперь разглядел его лицо, старообразное и бледное, с оловянными косыми глазами, с плутоватым выражением, лицо мальчишки, родившегося в нищете и пороке и рано окунувшегося в мерзость жизни.

— Брат.

— Так... Мать есть?

— Есть.

— А у меня вот никого нет, кроме марухи.

— Какой марухи?

— Какой марухи? — рассмеялся нагло мальчишка наивности Кашнева. — Любовница, значит.

— А у тебя есть любовница?

— А то как же. Да ещё какая! — хвастнул он. — Иной раз в шляпке ходит. Тальма у ней была, да мы её пропили.

— Кто же она такая, твоя маруха?..

— Кто? — Он с удивлением посмотрел своими косыми глазами в лицо Кашнева и, опять нагло рассмеявшись, ответил: — Знамо, кто!

— А сколько ей лет?

— Кто её знает... Чай, она не лошадь, по зубам не угадаешь. Лет тридцать, чай, будет.

— Вот как! А где же живёт твоя маруха?

Мальчишка подозрительно взглянул в лицо Кашнева, но потом ответил:

— Знамо где, в ночлежном. У нас там целый угол. Не хуже других живём... Не смотрите, что я так одет. Это я на биллиарде проигрался, да сменку взял, а то я чисто одеваюсь. Да она меня завтра же оденет. Только бы гость хороший попался.

— А за что же она тебя одевает?

— За любовь. Чай, я не даром её люблю!

«Тоже любовь», — с отвращением подумал Кашнев, поражённый этим тупым и грязным цинизмом.

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

«Он и Серёжа!» — сравнял Кашнев, и после этого сравнения ему стало жаль мальчишку. Виноват ли тот, что его не научили ничему хорошему? Там, где он живёт, такое поведение никого не коробит, никому не кажется мерзким и противоестественным, точно так же как в обществе, в котором жил Кашнев, не считались мерзкими и противоестественными поступки, которые, в сущности, были также почти грязны и достойны осуждения.

Рассвет всё сильнее и сильнее овладевал небом, в котором сквозь розовые тона пробивался серебристо-матовый свет. Из звёзд только одна крупная звезда светилась хрустальным блеском, но и этот блеск начинал таять и бледнеть, уступая другому свету. Вода точно впитывала в себя этот новый серебристо-розовый свет, пронизывавший и лёгкий

туман, курившийся по реке, и зелень деревьев, освежённых росистою влагою.

По мере приближения к месту катастрофы Кашневым стало овладевать напряжённо-жуткое настроение. Вот и песчаная коса, и обрыв против неё, под которым ещё темны отражения сухого огромного дуба, предводителя лесного полчища, в то время как возле песка вода струится розовая и нежная...

На песке видны были следы лодок и ног, а неподалёку от воды чернели остатки костра, обгорелый бурелом и палки для котелка.

Лодка, шурша о песок, въехала носом на берег, и Кашнев выпрыгнул из неё.

За ним выпрыгнул и мальчишка.

Кашнев осмотрелся и остановил свой взгляд на том месте, где больше всего виднелось следов.

По описанию Курчаева, тут и было то место, откуда пошёл в воду Серёжа.

Он посмотрел на реку, точно стараясь проникнуть в неё взглядом, и вспомнил слова матери: «Вода злая».

Она, действительно, показалась ему злой, бездушной и коварной, хотя и старалась при-

крыть свою злобу вкрадчивым шёпотом, нежностью и тишиною. Кашнев стоял, прислушиваясь к шороху и лепету воды между ветвями склонённой к ней ивы. Огромная щука метнулась в омуте, и он видел её несколько мгновений почти на поверхности реки. Затем она метнулась снова и, оставив по себе разбегающийся след, исчезла в глубине.

«Тут и лежит Серёжа», — думал Кашнев, и эти слова обдавали его холодом.

Он стал медленно раздеваться. Мальчишка с любопытством глядел на эту процедуру.

Раздевшись, Кашнев слегка съёжился от утреннего холода и от охватившей его жуткости и ступил в воду так же точно, как, по рассказу Курчаева, делал это Серёжа, то есть, лицом к берегу.

Затем он также пошёл дальше, с дрожью ощущая, как вода обнимает его все выше и выше... Вот уже он по грудь в ней... Ещё одно движение, и он сразу скрылся с головой.

Первое инстинктивное стремление было вынырнуть на поверхность, но он переборол себя. Ведь этого-то он и желал, и, не делая ни одного движения, удерживая замиравшее ды-

хание в груди, он отдал себя на волю воды. Он чувствовал, что сейчас найдёт тело Серёжи и вынесет его на своих руках со дна.

Широко открытыми глазами глядел он на дно сквозь застилавшую ему глаза воду, которая казалась зеленовато-мутной и непроницаемой, как стекло.

Вдруг правая нога его натолкнулась на что-то скользкое и упругое, и не успел он ещё, как следует, сообразить, что это такое, как в один миг очутился на поверхности с искажённым от ужаса и помертвевшим лицом.

Не было никакого сомнения, что он натолкнулся на Серёжу, и прикосновение к его телу ощущалось в ноге, как что-то прилипшее к ней и навсегда оставившее свой неизгладимый след. Не помня себя, он сделал два-три отчаянных усилия и очутился на берегу.

Мальчишка, вытаращив глаза, глядел на него, догадываясь о том, что Кашнев испугался утопленника.

Кашневу стало стыдно за своё малодушие, но он долго не мог прийти в себя.

— Нашли? — спросил мальчишка.

— Нашёл, — ответил Кашнев и, дрожа мел-

кой дрожью и тяжело дыша, стал одеваться.

Мальчишка ничего не понимал.

— Навязывай на верёвку камни, на аршин один от другого.

Мальчишка молча стал, исполнять его приказание, и, когда Кашнев оделся, почти все камни были ловко привязаны к ней. Тогда Кашнев сел в лодку и, приказав ему крепко держать за конец верёвки, отъехал на лодке с другим концом к противоположному берегу, немного повыше того места, где он, приблизительно, наткнулся на тело брата.

Там он опустил верёвку с камнями на дно. Лодка пошла по течению, верёвка в его руках натянулась, и камни медленно поволоклись по дну.

Вдруг, он почувствовал, что верёвка задела за что-то. Лодка на мгновение остановилась, а потом тихо двинулась вперёд снова. На верёвке к тяжести камней прибавилась ещё какая-то новая тяжесть. Это могло быть или старое дерево, намокшее до того, что уже не может подняться со дна, или это труп.

Он, побледнев, привязал верёвку к доске сидения и стал грести к берегу, вниз от того

места, где стоял мальчишка, всё с теми же вытаращенными глазами и разинутым ртом, крепко держась за верёвку.

Когда лодка пристала к песку, Кашнев выскочил из неё и стал тихо тянуть верёвку, приказав тоже самое делать своему помощнику.

Теперь уже не было никакого сомнения, что они тянули утопленника, и действительно скоро под водой блеснуло что-то белое... яснее... ближе...

И около берега закачался, лицом вниз, чистый и нежный труп юноши, со слегка подогнутыми коленками, опущенной на грудь головой и стиснутыми ладонь в ладонь руками.

Верёвка задела его под мышки, и он продолжал слегка покачиваться на воде, головой к земле, как будто кланяясь ей и приветствуя её молчаливыми и страшными кивками.

Лицо его, его лоб, закрытый прядями спустившихся волос, касались песка в воде, и вода тихо колыхалась под ним, точно лелея и баюкая свою жертву.

Кашнев, поражённый, не сводил с него глаз, точно ожидая, что вот-вот утопленник

поднимет голову, и он увидит взгляд Серёжи, его лицо, таким, как он видел его в последний раз вчера.

Чувство жуткости и вместе с тем невыразимого сожаления сковало его, и он всё глядел и глядел, как тихо колыхнется и кланяется земле этот дорогой ему труп.

Мальчишка сначала смотрел на труп издали, а потом с жутким любопытством подошёл к нему и громко сказал:

— Ишь ты, ведь какой белый да нежный, точно девушка.

Этот голос вывел Кашнева из оцепенения.

Он закрыл лицо руками, тяжело перевёл дыхание и произнёс:

— Ну, надо наломать ивовых ветвей и наложить их в лодку.

— Жалко, — пробормотал мальчишка и, с лениво шевелившейся в его голове мыслью прибавил: — Тяжело, чай, матери-то будет.

Он сам не знал матери, но слышал, что никто так не жалеет и не любит во всём мире, как мать.

По его испитому, с выдавшимися скулами и острым носом лицу, промелькнула трога-

тельная тень, и затем он, вздохнув, пошёл ломать ветки зелёных и ещё росистых ив и начал устилать ими грязное дно лодки.

Когда всё дно было покрыто толстым слоем этих ветвей, Кашнев обратился к мальчишке с просьбою помочь ему положить труп в лодку.

Но тот с испугом наотрез отказался от этого.

— Хоть убейте, не могу!

— Полно вздор говорить! — строго прикрикнул на него Кашнев. — Иди сейчас же.

— Ни за какие коврижки!

— Да почему же?

— Примета такая есть, что ежели до утопленника коснёшься, бабы любить не будут. И потом... боюсь!

— Какое идиотство! — рассердился Кашнев. — Иди, когда я тебе приказываю.

— Не могу. Убей Бог мою душу, не могу! — бормотал мальчишка, пятясь от Кашнева и косясь на труп.

— Но я ведь заплачу тебе... Вот, на! — швырнул он ему рублёвую бумажку.

Мальчишка проворно подхватил её, но

отошёл ещё дальше.

Видя, что уговоры и деньги не помогают, Кашнев вздумал пригрозить ему:

— Иди, говорят тебе, а то я заставлю тебя сделать это!

И он шагнул к нему, но тогда мальчишка шмыгнул в кусты. Слышно было, как трещали под его ногами сучки и шелестели кусты, сквозь которые он пробирался всё дальше и дальше.

Наконец всё затихло, и Кашнев остался на песке один с утопленником, которого ему надо было положить в лодку.

Он постоял с минуту в нерешительности, потом посмотрел на тело и пожал плечами, удивившись тому, что так настаивал, чтобы Митька помог положить тело в лодку. Это было нетрудно сделать и самому.

Он приблизился к трупу, но долго почему-то не мог заставить себя коснуться утопленника руками. Наконец, надо же было приступить.

Сердце его мучительно сжималось, когда он наклонился к нему и коснулся его плеч.

Упругое нежное тело было холодно, и этот

холод сразу охватил Кашнева.

Он потянул за плечи тело из воды, чтобы удобнее было поднять его. Вода струилась у утопленника с волос и мочила платье и ботинки Кашнева.

Когда почти весь труп был на песке, Кашнев заметил на правом боку у него довольно сильную свежую ссадину. Может быть, это вчера задела его багром, а, может быть, оцарапал нынче один из камней.

Бережно положив под утопленника руки, Кашнев поднял его. Тело показалось ему страшно тяжёлым. Он слегка прижал его к себе и тихо положил в лодку, на мягкую постель из зелёных ивовых ветвей.

Но положил он его не вниз лицом, а вверх, стараясь не заглянуть ему в лицо, которое странно тянуло к себе взгляд. Кашнев поспешил отвернуться и пошёл опять ломать ивовые ветки, чтобы прикрыть ими утопленника.

Он наломал их целую охапку и понёс к лодке, вдыхая их сырой и мягкий аромат. Но когда он наклонился, чтобы закрыть ими труп, не выдержал и взглянул на него, точно

желая убедиться, что это именно Серёжа, а не кто другой.

Да, это был он. На слегка ощеренных губах застыла пена, и в широко открытых стеклянных глазах замер какой-то глубокий вопрос.

Кашнев невольно закрыл свои глаза и покрыл тело ивовою зеленью. Голова закружилась, дрожали ноги; он едва не упал в обморок, но, и переборов эту слабость, долго не мог принудить себя сесть в лодку.

VI

В такое же ясное и чистое утро, как три дня тому назад, хоронили Серёжу.

Из церкви до самой могилы гроб несли на руках Курчаев, Маркевич, брат и один мало-знакомый чиновник особых поручений при губернаторе, большой любитель всяких церемоний, а особенно брачных и похоронных, белокурый и плешивый молодой человек по фамилии Золотоношенский.

Кажется, не было в городе свадьбы, в которой он не держал бы, в качестве шафера, венца, и похорон, где бы он не нёс гроба.

Он знал до тонкости все формальности

при тех и других обрядах и исполнял их с таким достоинством, точно ничего важнее этого в мире не было. И тут Золотоношенский распоряжался, суетился, шептался озабоченно и деловито с родственниками покойника, церковными служителями и даже с извозчиками. Словом, хлопотал неустанно.

Присутствовали ещё кое-кто из знакомых и, между прочим, королева и Можарова в глубоком трауре, который ей едва успела сделать портниха в эти три дня. Траур очень шёл к ней, и воздушный креп красиво падал чуть не до полу с чёрной шляпы.

Лицо её было торжественно-грустно, она даже искренно поплакала, когда запели «Святые упокой», но отчаянное рыдание и причитание старухи-матери вынудили её забыть о своих собственных слезах и поспешить к той, для её утешения.

Старуху поддерживали дочь и сын, но и сами они плакали, так что не им было утешать её.

Зато Золотоношенский, имевший всегда на свадьбах про запас духи, булавки и шпильки, а на похоронах — нашатырный спирт и

валериановы капли, уже пустил в ход два последних пузырька, давал нюхать старухе спирт и пить в воде капли.

— Это вас успокоит, это вас успокоит... — уверял он, пытаясь угодить ей под самый нос пузырьком, а стаканом — в рот. — Понюхайте... Выпейте...

Но старуха не замечала его стараний и, беспомощно тряся своей седой головой, рыдая, причитала надрывающим душу голосом:

— Серёженька ты мой... Сыночек родной... На кого ты меня покидаешь!..

С тех пор, как утром Алексей привёз домой труп Серёжи, она плакала, не осушая слез; но это были спасительные для неё слёзы. Не будь их, Бог знает, чем завершился бы для неё этот страшный удар. Но то, что она увидела труп, который в бесконечном отчаянии уже готова была считать навсегда пропавшим, значительно облегчило ей душу, воспитанную в христианской покорности воле Божией.

Он будет похоронен по православному обряду, и мать и «все любящие» проводят его «последним целованием».

Страшно её беспокоило, что Серёжу, как умершего «не своей смертью», будут резать, но Алексею удалось устранить и эту излишнюю формальность, так что старуха была удовлетворена. Она, не переставая плакать, сама хлопотала со странною мелочностью, чтобы весь обряд был исполнен в точности.

Ольга, глухая скорбь которой при виде трупа Серёжи также разрешилась рыданиями, сама пожелала читать над усопшим псалтырь. К ней присоединилась и Зоя Дмитриевна, и обе девушки двое суток безостановочно читали невыразимо трогательные, глубокие и печальные стихи.

В церкви королева, молчаливая и бледная, стояла в стороне и её лицо приобрело что-то новое, одухотворяющее и, вместе с тем, возвышенно-мирное, выстраданное... Она старалась быть незамеченной и вышла из церкви вместе с толпой, из любопытства наполнившей храм.

После прохладного полумрака церкви, запаха ладана и воска, ей в глаза ударило солнце весёлыми лучами, и в лицо пахнул воздух, в котором аромат зелени церковного сада

смешался с ароматом сосновых ветвей, устилавших дорогу из церкви на кладбище.

По выходе из церкви, за гробом шли только родные покойника, знакомые да несколько нищих старух и стариков.

Солнце блестело на белой глазетовой крышке гроба, которую нёс впереди помощник Кашнева, и старалось заглянуть в лицо покойника, закрытое пологом, как будто не верило, что это то самое лицо, которое оно видело всего три дня тому назад живым и полным чувства. Курчаев нёс тело, не переменяясь, хотя пот падал с него крупными каплями, но другие его сотрудники то и дело просили кого-нибудь на смену и, отдохнув, снова брались за полотенца.

Золотоношенский долго крепился, но наконец не вытерпел и попросил на своё место Алексея Алексеевича, который успел уже отдохнуть. Тот заменил его, и он поспешил к старухе и немедленно правой рукой взял её под руку, а левой, эффектно оттопырив её, но опять-таки не так, как на свадьбах, держал свою шляпу, прижав её к боку.

Дорогою королева несколько раз замечала,

как Алексей, несмотря на все своё горе, с пытливым любопытством взглядывал на неё. Ей были неприятны эти взгляды, и она, невольно хмурясь, опускала глаза.

Наконец шествие приблизилось к кладбищенским воротам, и пока около кладбищенской церкви совершалась молитва об усопшем, королева отделялась от толпы и пошла той тропинкой, где так недавно она бродила с Серёжей.

Она смотрела на памятники, перед которыми они оба останавливались, и читала знакомые надписи на могильных плитах и крестах, и также, как в ней самой, ей казалось, что в этих надписях прибавилось что-то новое, и что памятники и всё кладбище теперь совсем иные. Она сама не могла бы сказать, в чем состоит вся эта разница, но глаза её проникали как будто глубже в смысл вещей.

Глубокая печаль прозрачным тающим теплом разливалась по всему её телу, и эта печаль была приятна ей и вызывала заволакивавшие как туман, слёзы.

Ей было невыразимо жаль Серёжу, себя, что-то навсегда утраченное и невозвратное,

как молодость и свежесть, и завидно всем тем, кто покоится, здесь, в земле, «иде же несть болезни, печали и въздыхания»...

Тихий, едва уловимый аромат земли, травы и тления, напоминающего запах увядших цветов, поднимался оттуда, как вздохи, которые посылали усопшие, напоминая о том, что со временем, и она будет с ними, но пока бьётся в груди сердце и солнечные лучи проникают в кровь надо жить, жить так, чтобы, когда придётся умирать, не бояться смерти.

Вот Серёжа не боялся её, потому что его жизнь была чиста и прекрасна. Он только хотел, чтобы смерть предстала ему не в виде безобразного скелета, а в образе её, королевы.

При этом воспоминании она почувствовала странную гордость в душе и уверенность, что такую именно и предстала ему смерть.

Но как проверить это? До сих пор она не решалась заглянуть ему в лицо, но теперь у неё явилось это желание, и она захотела исполнить его. Его лицо выдаст ей эту тайну, и, если только она прочтёт утвердительный ответ, постарается быть достойною его святого представления о себе.

Она пошла дальше, и все будило в ней мысли, чувства и воспоминания.

Вот крест, около которого Серёжа плакал. Вот место, где она писала письмо. Проклятое письмо! Вся чистая гордость её поднималась из глубины души и возмущалась унижением, до которого она себя допустила. И ради чего же всё это?

Кладбище молчало. Деревья стояли, не шевеля листьями, точно это были тоже мёртвые деревья. Парочка зябликов, задумчиво пощebetывая между собою, перепрыгивала с ветки на ветку по берёзе. Ворона торопливо и низко пролетела над головой и скрылась за верхушками деревьев.

Королева направилась туда, где три дня тому назад рыли могилу оборванцы. На этом месте был уже холмик с водружённым белым крестом, где чёрная надпись обозначала год и день рождения и смерти покойника, а также чин и звание его. Последнее было изображено в стихах:

*Здесь лежит околоточный надзи-
ратель
Иван Парфенович Щегольков,*

*Упокой его Создатель
В селеньи праведных отцов.*

Под этими стихами череп на сложенных крестом костях, с другой стороны змея, кусающая свой хвост, и под змеёй новая надпись в стихах:

*Прохожий, остановись,
Подумай, да помолись,
Что наша жизнь, увы и ах!
Я дома здесь, а ты — в гостях.*

Внизу был изображён филин, клюющий сердце: очевидно, сам околоточный надзиратель Щегольков, если это по его воле, а, может быть, и его собственного сочинения, красуются такие надписи, был большой пессимист. Но и это злое напоминание о смерти в безобразных стихах и устрашающих рисунках не испугало королевы и не вызывало в ней отвращения к смерти. Её не покидала эта глубокая и кроткая грусть.

Она стала искать глазами могилу, приготовленную для Серёжи, и в эту минуту услышала издали, справа, шум.

Она обернулась и увидела сквозь деревья

процессию, приближавшуюся к могиле.

Впереди шёл священник, блестя на солнце золотом своей расшитой ризы, за ним дьякон и певчие, а там несли гроб и за гробом следовали провожатые.

Прежде всего ей бросилось в глаза лицо Алексея, поддерживавшего под руку мать. Он заметно оглядывался по сторонам и искал кого-то глазами. Королева сразу почувствовала, что он ищет её. В груди её что-то слабо вспыхнуло и вызвало краску на лицо, но она тотчас же подавила засыпанное траурным пеплом чувство и со спокойным лицом направилась к процессии. По другую сторону матери, также поддерживая её, шла Ольга с заплаканным лицом и красными пятнами на своих выдававшихся скулах. Рядом с нею шла Можарова, то и дело откидывая эффектными жестами креп, падавший ей на лицо.

Те же самые оборванцы, которых они видели здесь накануне, и теперь стояли с лопатами около свежевырытой могилы, к которой и направилось шествие.

Опустили гроб рядом с могилою, куда каждый бросал тревожно любопытный взгляд и

откуда пахло затхлой сыростью. Все почему-то затомились на месте, и у всех было на уме одно: скорее бы, скорее бы окончились эти тяжёлые минуты!

В воздухе снова запахло кадильным дымом. Он синей струйкой поднимался вверх из кадильницы, которую раздувал церковный служитель, и запах ладана был родной и запаху могилы, и аромату кладбищенской зелени.

— Благословен Бог наш, — прозвучал голос священника во внезапно наступившей тишине, и этот голос, и весь кладбищенский воздух так овладели королевой, что она стояла, как в чаду, опустив глаза, без дум и чувств. Если бы она могла молиться и плакать, как другие! Но ни слез, ни молитвы у неё не было, и она, как во сне, слышала панихиду.

«О избавитеся нам от всякия скорби, гнева и нужды», — доносились до неё слова, и тогда, когда эти слова отвечали её собственному настроению, она ловила их с какою-то жадностью, как изнемогающий от жажды человек ловит капли влаги.

«Кая житейская сладость пребывает печаль-

ли непричастна, — как голос её собственного сердца, прозвучали великие слова, и, поражённая страшной правдой этих слов, она открыла глаза, как будто в них внезапно ударил ослепительный свет. — Кая ли слава стоит на земли непреложно? Вся сени немощнейша, вся сонний прелестнейша: едином мгновением, и вся сия смерть приемлет».

«Так, так! — с внезапно охватившей её радостью повторяла королева. — Так!.. И я давно знала это... — с волнением повторяла она. — Хотя с такой поразительной ясностью никогда не могла бы выразить того, что знала. О Боже! Какое могущество в этих словах!»

И в то время, как панихида продолжалась дальше, она с тайной отрадой повторяла эти врезавшиеся в её память слова:

«Кая житейская сладость пребывает печали непричастна... Вся сени немощнейша, вся сонний прелестнейша: едином мгновением и вся сия смерть приемлет».

О да! Она теперь всем своим существом проникла в смысл этих слов. Неужели же другие этого не понимают, не верят этому?

Она взглянула вокруг себя и опять встре-

тила взгляд Кашнева, любопытствующий и в то же время молящий. Но теперь она уже не опустила своих глаз и открыто и прямо встретилась с его глазами, так что он сам невольно почувствовал смущение. Это смущение ещё более увеличилось, когда отвернувшись, он встретился с ревнивым взглядом Можаровой, наблюдавшей за этой безмолвной сценой.

«И всё это у открытой могилы, с невысохшими ещё от слез глазами!» — подумала она, ощущая в душе что-то вроде страха за этих людей, которые уже, конечно, не постигают того, что открылось ей так ясно. Но, Боже мой! Если это так, как же тогда уйти? За что же тогда ухватиться?

Этот вопрос испугал её только на одно мгновение. Лицо отца, всю свою жизнь бескорыстно отдавшего служению людям и внушавшего те же стремления и ей, промелькнуло перед ней и пробудило в ней начинавшие было глотнуть в последнее время порывы.

«Жизнь — не наслаждение, жизнь — подвиг!» — прозвучали в её сердце любимые слова отца, и эти слова как-то близко и дружно сплелись со словами священных стихов.

Да, жизнь подвиг, тот самый подвиг, о котором она, под влиянием отца, мечтала со школьной скамьи и о котором едва не забыла теперь, охваченная жаждою своего собственного счастья и наслаждения, которое есть ложь и грех.

Смерть мальчика, ставшего за других невольной жертвой этого греха и этой лжи, открыла ей глаза сердца, и теперь уж ничто не ослепит их.

И вся охваченная тихим экстазом, она не завидовала теперь Серёже и всем, кто покоился здесь, вокруг неё, под могильными плитами и крестами. Ей хотелось жить, чтобы жизнью своей победить самую смерть, смело встретив её, когда она откроет ей свои двери. Она не заметила, как кончилась панихида, и только раздирающий душу крик матери заставил её очнуться.

Она увидела, как мать прильнула к гробу сына, умоляя помедлить, не заколачивать крышку гроба. Слёзы из её глаз падали на его лицо крупными каплями... Её почти без чувств оторвали от покойника, и все стали подходить к нему прощаться.

Королева подошла последней и только тут взглянула в лицо мертвеца. Лицо было бледное, с синевой под глазами, с заострившимся носом и полураскрытыми посинелыми губами, между которыми просвечивали белые передние зубы.

Но необыкновенно торжественная важность застыла на этом лице, как будто он разгадал то, что целые тысячелетия пытаются разгадать все люди, и это запечатлелось в его чертах глубоким нравственным удовлетворением.

Она не нашла в этом лице прямого ответа на тот вопрос, который несколько минут тому назад так интересовал её, но теперь ей это и не было нужно. Она уже знала себя и знала, в чем правда жизни. И, приложившись к его гладкому, детски чистому лбу, она отошла в сторону и скоро услышала глухие звуки молотка о дерево: заколачивали крышку гроба.

— Не угодно ли вам бросить горсточку земли? — услышала она сбоку любезную фразу и, удивлённая этим как-то особенно нелепо для неё прозвучавшим предложением, оглянулась.

Перед нею, склонив голову на бок, стоял Золотоношенский и на маленьком совочке подавал ей землю.

— Этого требует обычай, — пояснил он со внушительною любезностью.

Она машинально взяла немного земли и подошла к могиле, куда уже сыпалась земля, с печальным шумом ударяясь о крышку гроба.

— Крест-накрест, крест-накрест бросайте землю... — командовал Золотоношенский, и она послушно бросила на гроб горсть своей земли. Исполнен был последний долг, и могильщики, взявшись за лопаты, стали забрасывать яму землёю с такой поспешностью, как будто опасались, что покойник очнётся и вылезет из могилы.

Старуха пришла в себя, когда уже могила была засыпана землёю почти до верху и кривой могильщик притаптывал на ней землю.

— Зарыли? — тихо прошептала она.

— Зарыли.

Она покачала обессиленной от горя головой и, как будто выплакав все свои слёзы и примирясь с неизбежностью, обратилась к

присутствующим с просьбою прийти помянуть покойника, «чем Бог послал».

Почти все выразили своё согласие и двинулись с кладбища. Старуху снова вели под руки сын и дочь, а по выходе за ворота усадили её в карету с Ольгой, которая на прощанье также просила всех, и королеву особенно, зайти к ним на поминки.

— Всё же маме легче будет, когда до конца обряд выполнится, как следует.

Но не хотелось идти туда: она представляла себе чисто вымытые комнаты, где на полу ещё не просохла вода, завешанные зеркала и на всём печаль тяжёлой утраты, а главное — близость Алексея и Можаровой.

— Нет, я после приду к тебе, — ответила она Ольге. — Я слишком устала теперь.

— Как! Вы не хотите заехать к нам? — обратился к ней Алексей, почти испуганный её отказом. — Нет-нет, и не думайте отказываться.

— Благодарю вас, но я не могу... Я слишком устала и пойду домой.

— Тут есть маленькое противоречие, — заметил Золотоношенский, — устали и пойдё-

те... Если устали, значит, идти уж нельзя.

— Позвольте, если так, я провожу вас, — неловко предложил свои услуги Курчаев.

— Я довезу вас до дома, — поспешно заявил Маркевич.

— Нет, благодарю вас, я пройдусь одна.

— Вот что, господа, вы поезжайте к нам, а я уговорю Зою Дмитриевну, — неловко прервал Кашнев.

Можарова, сидя в своей коляске, нетерпеливо вертела в руках зонтик, бросая нетерпеливые взгляды в сторону Кашнева. Золотоношенский бросился к ней, что-то бормоча с любезною улыбкой.

Можарова покраснела, потом засмеялась и, усадив около себя Золотоношенского, концом зонтика тронула кучера.

Коляска Можаровой была уже далеко впереди, оставляя за собою золотившуюся на солнце пыль. Все остальные также следовали за нею, гремя и пыля.

Они остались вдвоём у ворот кладбища, оба смущённые и взволнованные.

Кашнев чувствовал, как сердце его, непривычно для него самого, бьётся, как у мальчи-

ка, и дыхание доходит как будто только до половины груди.

Она стояла перед ним, выпрямившись, но слегка склонив свою красивую голову, в ожидании его объяснения. Он почти не узнавал этого изменившегося лица, не знал, с чего ему начать, но когда она, удивлённая его молчанием, тихо подняла на него глаза, он заговорил внезапно осевшим голосом, как будто возражая ей:

— Я знаю, что выбрал совсем неподходящее время для объяснений... что я поступил бестактно... даже по отношению к вам, но я не мог иначе... Я должен был сейчас же всё высказать... Я страшно виноват перед вами! — почти выкрикнул он последнюю фразу, и в глазах его блеснули слёзы.

Королева давно заметила, что слёзы у него нередки: он сам вызывал их у себя своим голосом и порывами, но на этот раз они тронули её, и она просто и мягко сказала:

— Прежде всего, зачем ты мне говоришь «вы», а затем, ты ни в чем не виноват... Виноваты мы оба...

Он не понял её и, обрадованный её заду-

шевным тоном, горячо продолжал:

— Я знал, что ты простишь меня и дашь настоящую цену моему проступку... Ты великодушна и умна, и добра, и я теперь ещё больше ценю тебя... преклоняюсь и благоговею пред тобою! Смерть Серёжи открыла мне глаза на самого себя и на моё отношение к тебе... и это ужасное несчастье должно навсегда связать нас с тобою.

— Нет! — в испуге сорвалось с её губ. Она как будто боялась, что то, с чем боролась и что успела побороть, пересилит под влиянием этих полных соблазна речей. — Нет!..

Она даже подняла руку, точно защищаясь от невидимого нападения, но тотчас же опустила её, и глаза её, в которых блеснул прорвавшийся огонь, снова погасли.

Он, поражённый, отступил и, не веря себе, не сразу выговорил медленно и беспокойно:

— Как, нет? Что ты сказала? Опомнись!.. В тебе говорит твоя чистая гордость... Я оскорбил тебя своим вероломством... Но ведь говорю тебе, я теперь прозрел и умоляю тебя простить меня... Ведь это гордость!.. Только гордость!..

— Нет!.. — твёрдо ответила она и на этот раз ясно и прямо взглянула на него так, как она взглянула на него на кладбище.

Он ничего не понимал, но лицо его побледнело: он видел, что это не то, что ему казалось, и он не понимал её спокойного отказа. Лицо его приняло растерянное выражение, и он с трудом заговорил, подбирая слова, чтобы как можно мягче и, вместе с тем, определённое выразить свою мысль:

— Подумай, что ты говоришь?.. Ведь после того... после тех отношений... той близости...

— Не надо... не надо напоминать мне об этом! — остановила его королева.

— Но подумай... подумай... на что ты идёшь?.. Ведь уж о нас говорят...

Тогда, с внезапно вспыхнувшей в её лице краской и твёрдостью в голосе и глазах, она остановила его гордо и спокойно:

— Я знаю, на что я иду... И на том пути, куда я иду, мне не могут помешать ни ошибка прошлого, ни то, что говорят обо мне.

— Но... моя любовь!.. Разве она может помешать тебе?.. — робко спросил он, чувствуя, что вся она проникнута какою-то новой си-

люю, которая заставляет его робеть перед нею.

— Да... — не задумываясь, ответила она. — Мы с тобою слишком различные люди: ты сказал, что смерть Серёжи заставила прозреть тебя. Прозреть!.. И сейчас, около его могилы, ты говоришь о своей личной любви... Да разве личное счастье может быть без зла, без лжи и фальши перед собою и другими? Если бы ты слушал, что говорилось над могилой, ты бы понял, что около могилы Серёжи, после того, как только зарыли его, преступно и низко говорить о личном счастье и о том, что зовётся любовью. «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна!..» Есть только одна сладость в жизни, непричастная этой низкой печали... Сладость труда на благо ближнего, одна любовь, любовь к страдающим... Вот что мне открыла смерть Серёжи. И только во имя этой последней любви я хочу и останусь жить!

Голос её всё сильнее и сильнее звенел пронизывающею сердце искренностью, от которой Кашневу становилось жутко, и с каждым словом её он чувствовал, как поток какой-то относит его всё дальше и дальше от неё, и он

не в силах с ним бороться, хотя ему мучительно жаль сознавать своё отдаление от неё, так мучительно, что, кажется, само сердце бледнеет в груди от тоски и отчаяния. Ему хочется упасть перед нею на колени, просить пощады, умолять снизойти до него и протянуть ему руку; но голос её звенит ещё сильнее и твёрже, а в глазах светится кроткий, но неумолимый, как истина, свет.

— Если бы ты чувствовал то же, что чувствую я, если бы ты мог отрешиться от личных вожделений, тогда бы я, как с братом, пошла с тобою рука об руку. Но ты настолько честен, что не захочешь ещё раз обмануть меня и себя, — поспешила прибавить она и, остановив на его бледном и жалком в этот миг лице свой ясный и светлый взгляд, слегка потускневшим голосом сказала:

— Прощай.

И медленно, не оборачиваясь, пошла прямо через степь, своей красивой и гордой походкой королевы, вся освещённая северным осенним солнцем, которое сделало своё дело с весны и удалялось отсюда, подготовив обширную жатву в полях, садах и лесах.

Чудо

I

Было что-то тяжёлое до жуткости в этих тучах, которые неслись над Иерусалимом.

В поздний ночной час над спящим древним городом, в тучах как будто оживают сумбурные кошмары прошлого и носятся его мрачные тени.

Сильный северо-восточный ветер гонит и сталкивает их. Но кажется, что этот ветер поднимают они своим стремительным движением, и от них тревожный шум и свист в узких изломах улиц, где осклизлые чёрные камни и железо отвечают им печальными голосами неумирающих тайн.

Мой кавас Савва косится на небо и боязливо говорит, покачивая головой:

— Э, что теперь делается в море!

Его слова падают на меня, как холодные капли дождя, срывающиеся с туч.

— А что? Вы думаете, большая буря?

— Что думать? Я знаю: большая, большая

буря.

— Значит, пароход может не пристать завтра в Яффе?

— Э, что завтра! Ни завтра, ни послезавтра. Буря надолго.

Это сообщение ошеломляет меня. Завтра я во что бы то ни стало должен попасть на пароход. Во что бы то ни стало! И именно на этот пароход, который утром должен прибыть в Яффу. Так сложились обстоятельства.

После всех перенесённых нами испытаний, после всех ужасов и сомнений, она известила, что по пути из Египта будет ждать меня на этом пароходе.

— Может быть... — заикаюсь я.

Но Савва только машет безнадёжно рукой. Ведь в Яффе нет порта. А лодочники никаких денег не возьмут, чтобы перевезти меня в непогоду через буруны.

Да, да, всё это я слышал. Я видел сам эти буруны, острой грядой выступающие вдоль яффского побережья. И в небольшую зыбь проскочить среди них далеко не безопасно. Каждый год здесь гибнут десятки людей.

Может быть, на моё счастье, кавас ошиба-

ется. Я, однако, плохо надеюсь на это и сплю тревожно. Вижу во сне волны, которые бьются между камней, и уходящий пароход, а с ним исчезающие надежды.

Просыпаюсь в испуге и отчаянии. Прислушиваюсь.

Ветер бьётся по железной крыше, как привязанная за ногу громадная птица, и воет-воет. Этот вой напоминает глухое гудение уходящего парохода.

С нетерпением гляжу я в окно. Белая тюлевая занавеска висит безжизненно и тускло. Как длинна ночь!

Наконец, я вижу, занавеска слегка осветилась и ожила. На холодный каменный пол ложатся, слабо отражаясь, узоры занавески. Слабо намечается стрелка часов. Пять.

Утро солнечное, но по-прежнему холодное и ветренное. Иерусалим ещё спит после кошмарной ночи, а на скользких камнях не остыл пот ночного ужаса.

— Кажется, буря меньше, — говорю я, — и ветер как будто переменялся.

— Нет, — отвечает Савва неумолимо. — Буря днём всегда кажется меньше, чем ночью, а

ветер всё с моря.

С беспокойным чувством сажусь я в поезд и еду в Яффу.

II

В Яффе меня встречает на платформе араб, посланный из нашего пароходного агентства. С жадной тревогой я задаю ему вопрос:

— Пароход?

Он, сверкая зубами и белками глаз, отрицательно качает головой.

Я чувствую, что бледнею, как накануне, но не хочу расстаться с надеждой. Может быть, он меня не понял?

— Я говорю о пароходе, который должен был прийти сегодня утром.

Он отвечает мне на языке, состоящем из слов, похожих и на французские, и на русские, и на английские.

Как ни нелеп его язык, я, однако, понимаю, что пароход был, но не мог бросить якоря и ушёл.

Рёв моря слышен издали, и пахнет морскими водорослями, так терпко, как бывает только при сильной буре.

Шумливая восточная толпа, которая на солнце сверкает и вспыхивает своими яркими лохмотьями; меланхоличные, что-то вечно шепчущие верблюды, лукавые ослики, белые камни и цветущие апельсиновые рощи — всё, что я так люблю, — сразу теряет для меня своё очарование.

Этот дикий шум моря встал передо мною холодной, глухой стеной.

Однако я спешу на набережную. Первый взгляд на море.

Вблизи, у набережной, море всё белое, как кипящее молоко, вплоть до гряды бурунов. Бурунов не видно в пене, но волны около камней взвиваются, как раненые быки. И кажется, рёв их, главным образом, несётся оттуда. Дальше, среди нежных хребтов волн, сверкает лазурь и ярь.

Сердце вздрагивает от радости. Там тёмным силуэтом качается пароход.

На пароходе — она.

Я радостно указываю на дымок арабу.

Он также радостно кивает мне головой. Да, это тот самый пароход, который мне нужен. Но он, видимо, уходит. Чёрная грива вырывает

ется из его трубы и треплется по ветру.

Чайки с скрипучими криками носятся над водой. Иногда они так низко пролетают над волнами, что их обдаёт пеной и брызгами. Они сразу тяжелеют от этой солёной влаги и падают на гребни волн.

Лодки качаются у пристани в образовавшемся от камней затоне. Они сгруппировались вместе точно стадо, забитое в один загон. Если бы пароход и не уходил, всё равно, мне нет причины радоваться. Смешно надеяться попасть на него при такой громадной зыби в этих скорлупах.

Пароход должен уйти в четыре часа. Сейчас двенадцать.

Агент в большом волнении. На пароходе очень важная почта для Яффы.

— Может быть, они подождут, пока зыбь успокоится, — говорю я с слабой надеждой.

— Вряд ли, — отвечает агент. — Крейсируют с самого рассвета и не могут бросить якоря. Ждать пришлось бы, во всяком случае, не три, и не четыре часа.

— А не найдётся ли смельчаков, которые рискнули бы отправиться сейчас?

Агент смотрит на меня с удивлением. Это старый человек, выдавший виды.

Поджимая по-восточному губы, он покачивает головой с безнадёжным отрицанием.

— Верная гибель. Видите, на набережной ни одного лодочника. Все или по домам, или в кофейнях.

— Жаль, я готов бы заплатить большие деньги.

— За жизнь трудно заплатить деньгами. Оставьте думать об этом. А вот, через два дня будет пароход «Измаилия» общества Хедиве, — гораздо лучше этого.

Бесполезное возражение. Будь «Измаилия» даже плавучий дворец, другой пароход мне не нужен. Я во что бы то ни стало должен попасть на *этот* пароход.

— Возможно, если... если пароход останется до завтра, или... — он с улыбкой поднимает на меня свои пронизательные глаза, — если совершится какое-нибудь чудо.

— Чудо! Чудо! — машинально повторяю я про себя.

Большая подзорная труба направляется от нас к пароходу. Я, вслед за агентом, с жадностью смотрю в круглое блестящее стекло, и через волны, через буруны, ясно вижу не только пароход, но и капитана на мостике. Глаза мои ищут ещё одну фигуру среди нескольких, чернеющих на борту. Ах, мне кажется, я узнаю её!

Она стоит вон там, слева, на палубе, и с такой же мучительной тоской смотрит сюда, где стою я.

Пароход в подзорную трубу виден так близко, что, кажется, достаточно сделать одно движение, протянуть руку, и я буду там.

Но едва глаз мой покидает стекло, я снова

за шесть-семь миль от него. И опять передо мною на огромном пространстве кипящие волны, а за ними еле видный силуэт парохода с длинной гривой.

Я снова припадаю к стеклу трубы, и снова тот же раздражающий обман. Так близко, что хочется сказать, крикнуть. Я вижу, как пароход поворачивается и идёт прямо сюда, к нам. Сквозь волшебные стекла он ещё ближе теперь. Я вижу, как взвивается на нём флаг, другой, третий. Сигнализируют.

Агент торопливо хватается за книгу с рисунками сигналов. Что там такое? Может быть, на пароходе несчастье? Кто-нибудь умер?

Нет, сигнал более утешительный: «Остаёмся до вечера».

Агент, глядя на море, только разводит руками. Это бесполезно: зыбь не может упасть так скоро, если бы даже ветер сразу прекратился. Он смотрит на барометр, стрелка которого падает. Только сильный ливень мог бы несколько прибить волны.

Как ни бедна эта надежда, я цепляюсь за неё. Важно не то, что волны вряд ли утихнут

за эти три-четыре часа, а то, что пароход не ушёл в назначенный час. Почта, или что иное удержало его, — мне всё равно. Это должно было случиться. Это и есть то чудо, мысль о котором запала в мой мозг.

Я выхожу на набережную и томительно шатаюсь взад и вперёд, не сводя глаз с грохочущих волн. Я с такой ненавистью гляжу на них, что удивительно, как они не утихают от моего взгляда, который, кажется, заставил бы присмиреть стаю голодных собак, даже львов.

Иногда мне представляется, что волны затихают. Я подхожу к самому краю каменной набережной. Волны, как будто, не плещут сюда, как раньше. Но в ту же минуту обдаёт меня целым дождём брызг.

Всё тяжелее и тяжелее надвигаются тучи с северо-востока. Если не утихает ветер, должен быть ливень. Барометр указывает на дождь.

Чудо должно совершиться.

Падают капли. Мелкие, осенние капли дождя.

Я готов крикнуть от радости. Я с наслажде-

нием подставляю им своё лицо. Пусть хлынет на меня ливень, я не двинусь с места. Я буду следить, как он станет сечь некстати разбушевавшуюся стихию.

Но дождик брызжет отвратительными нищенскими каплями, не крупнее тех брызг, которыми обдаёт меня море.

На набережной по-прежнему довольно пусто. Народ только в кофейнях. Пусты и лодки на море, мачты которых чертят воздух бессмысленными намёками.

Мальчишки собирают раковины на обнажающихся по временам прибрежных камнях. Никому нет дела, что здесь почти решается моя судьба.

Я вспоминаю, что ничего ещё не ел с самого утра. Захожу в первую попавшуюся восточную лавку и ем что-то странное, похожее на мясо, с чем-то странным, похожим на зелень. Но мясо так заряжено всякими специями, а зелень так пахуча, как будто я проглотил букет роз совсем с шипами.

Мне из этой лавки видно небо, и море, и пароход. Вот, я вижу, как агент возвращается в свою контору.

Иду с ним. Он, вероятно, должен считать меня за безумного.

Уж близок назначенный час отхода! Солнце идёт к западу. Его диск то оранжевым пятном выступает в тучах, то вырывается из них, красный, как кровь. И тучи вокруг него также вспыхивают багрянцем.

Опять подозрная труба приближает ко мне пароход, и я жадно ищу на нём знакомую фигуру. Отчаяние роняет на сердце свои иглистые капли, и они жгут и сверлят его такой болью, от которой хочется упасть на землю и кричать.

И вдруг пароход сигнализирует снова: «Остаюсь до утра».

Я едва не подпрыгиваю от радости в то время, как агент с недоумением разводит руками.

— Очевидно, помимо корреспонденции есть ещё что-нибудь, более важное, — говорит он.

Я ничего не отвечаю на это. Я должен сказать, что это явное чудо. Но он слишком стар и, вероятно, слишком давно любил, чтобы верить в чудеса.

IV

Я почти спокойно сплю ночь в отеле с садом, где живут на свободе попугаи, пара обезьян и ещё некоторые птицы и животные уже местного происхождения. Вместе с солнцем, они стараются убедить меня весёлыми голосами, что всё будет благополучно. Я охотно верю им. Я бы поверил и неподвижности высоких араукарий под моим окном, будь эти тёмные деревья не так тяжелы: если араукарии не качаются, это вовсе ещё не значит, что нет ветра.

Я отворяю окно и слышу подозрительный гул, хорошо знакомый мне; от него холодеет сердце.

Стремительно направляюсь на набережную. Мой пароход всё ещё курсирует вдалеке. С другой: стороны пришёл пароход австрийского ллойда.

Но волны, волны! Они, если уменьшились, то очень мало. Однако, есть какая-то надежда. Я замечаю её прежде всего в лодках: они не так пусты, как вчера. Правда, не видно, чтобы кто-нибудь собирался отправиться в

путь, однако арабы-лодочники выливают из них воду, наплесканную за ночь морем и дождём.

Я иду к этим фигурам и вступаю в переговоры. Указываю им на мой пароход, потом на их лодки, потом опять на пароход. Они отлично поняли, но широко разводят руками и кивают на кипящие буруны. Я делаю несколько таких выразительных жестов, что их бы поняли дельфины. Они не хотят и слушать. Это приводит меня в раздражение. Для чего же тогда возиться с лодками и вводить меня в заблуждение? Трусы! А ещё живут при море! А ещё славятся, как отважные лодочники!

Ещё сигнал, на этот раз последний: «Через час ухожу».

Я с отчаянием взглянул в ту сторону, где покачивались суда, и снова затрепетала надежда. Одно из судов, нагруженное апельсинами, ставило парус, готовое выйти в море. Я хотел броситься туда и умолять взять меня, чтобы доставить на пароход. Но было уже поздно. Парус надулся сразу с такой силой, как будто ветер налил его до краёв и перетянул всю барку набок. Она задрожала и рвану-

лась вперёд.

— Кайфа, Кайфа, — торопился успокоить меня араб.

Барка шла в Кайфу вдоль берегов.

Но это обстоятельство уже снова приближало меня к чуду. У тех отважных людей должны были найтись подражатели.

С горячим укором я стал указывать лодочникам то на скосившийся к морю парус, то на деньги.

Дело было сделано: отважные нашлись. Двенадцать гребцов, тринадцатый рулевой. Старший был седой, как могильный камень на мусульманском кладбище, высокий, жилистый, с длинными руками и длинными зубами. В его ухватках чувствовалась почти нечеловеческая сила и цепкость обезьяны.

Хороши были и эти двенадцать молодцов. На подбор! Из них можно было бы составить отличную разбойничью шайку. И когда они взялись за весла, я взглянул на них с полным доверием.

Пронзительно и дико затянули они унылый мотив. Молитва или песня? Судя по их нахмуренным, серьёзным лицам, это была

молитва. Наконец, мне хотелось, чтобы эта была молитва, а не песня.

Двенадцать весел поднялись и впились в воду, как двенадцать змеиных жал. Громадная лодка сразу ожила и подалась вперёд, при сочувственных криках толпы, собравшейся на мокрой набережной.

Это было вовремя. Большая барка с апельсинами не посмела проскочить через буруны и возвращалась назад, уже наполовину залитая волнами. Но видели это лишь рулевой, да я, а гребцы сидели спиною.

Я сделал по их адресу презрительную гримасу, чтобы вызвать сочувствие в старике, но каменное обезьянье лицо осталось неподвижным. Глаза его сощуренные, как от бьющего в лицо солнца, зорко и хищно впились в гряды камней. Волны вздувались на них громадными белыми парусами и разбивались с ужасным шумом.

— Алла саид! Алла саид!

С оханьем и стонами гребцы издавали эти дикие горловые звуки, в такт с вонзающимися вёслами.

Буруны были всё ближе. Они как бы нес-

лись нам навстречу живою, вставшею на дыбы сворой, с рёвом и оскаленными пастьями, в которых клубилась бешеная слюна.

Волны поднимали и опускали барку, точно раскачивая её, чтобы сильнее, с размаху бросить в лязгающие челюсти смерти.

Проклятая барка с апельсинами попалась на глаза гребцам как раз в ту минуту, когда требовалось особенное самообладание. Это возвращение, видимо, сразу смутило их, и они, точно по уговору, с ненавистью взглянули на меня и старика и бросили несколько слов, вызвавших среди них замешательство на одно мгновение.

Всего на одно мгновение, но оно могло обойтись им дороже всей прошлой жизни. Лодка как-то беспомощно качнулась в сторону, и огромная волна, выросшая как раз перед нами из открывшейся бездны, подобно громадному, взбесившемуся быку, с рёвом бросилась на нас, чтобы разбить вдребезги деревянную игрушку.

Гребцы вскрикнули в диком ужасе, закрыли руками побелевшие лица, бросили весла и повалились на дно лодки.

Я разобрал только один крик: «Алла!», и с отчаянием, придавившим меня, как огромная глыба, подумал:

«Все кончено».

Но тут же иступлённый, сильный, как рёв сирены, голос, покрыл эти трусливые стоны.

Я никогда не слышал крика, в котором чувствовался бы такой гнев, негодование и мощь. Я сам, готовый перед тем так же упасть на дно лодки, как эти трусы, не понимая, что делаю, вскочил и изо всей силы дал ногой пинка упавшему к моим ногам арабу-гребцу.

Этот крик сразу поднял их, как удар кнута. Двенадцать голосов ответили дружным откликом, и гнуткие весла опять сразу очутились в их руках.

Не поздно ли?

Волна подкатилась под нас, взмыла на высоту, образуя туго натянутую тетиву колоссального лука, и наша остроносая лодка задрожала на этой тетиве, как стрела.

— Алла!

Рука самой смерти рванула за тетиву и спустила стрелу, которая метнулась вниз с захватывающей дух быстротой.

Я видел перед собой грозно обнажившиеся камни, чёрные, как зубы смеющейся смерти.

«Всё кончено, — подумал я ещё раз и, глубоко вобрав в себя воздух, как бы захлебнулся им и закрыл глаза. — Пусть увидит это она, пусть увидит она!»

Но это не могло продолжаться дольше, чем дыхание было замкнуто в моей груди. Сами собой открылись глаза. Голова кружилась.

Море вздымалось ровными могучими волнами, но смертельный шум был за спиной. Я не верил себе. Как могло это произойти.

После мне говорили следившие за нами с парохода, что волна перекинула нас на хребте не между бурунами, а через самые буруны. Конечно, они называли это счастливой случайностью, но случайность дважды не повторяется, а у меня, со вчерашнего дня, это была не первая случайность.

Я торжествовал, но это было преждевременно. Любая из этих волн могла опрокинуть нас на пространстве тех четырёх-пяти миль, что отделяли лодку от парохода.

Гребцы работали с исступлённой силой. С страстным надрывом подхватывали они

крик-молитву, которую бросал им старик. Лодка то вздымалась на хребет волны, то скользила вниз, зарываясь носом в волнах, которые промочили нас насквозь. Но скоро и эта опасность миновала. Пароход был совсем близко.

Оставалась одна, последняя. С парохода нельзя было опустить деревянного трапа, его сразу разбило бы волнами. По штурмтрапу также было рискованно подняться вверх. Во время размаха парохода меня могло ударить о борт прежде, чем я взобрался бы на палубу.

И вот, на деревянный трап, прикреплённый горизонтально к пароходу, лёг матрос и протянул мне руку.

Стоя на борту лодки, я должен был ухватиться за эту руку как раз тогда, когда лодка поднималась, а борт парохода опускался вниз.

Но лодка не могла подойти вплотную к пароходу, иначе её разбило бы волной. Надо было сделать прыжок с неё к протянутой руке.

Сальтомортале — смертельный прыжок!

Я колебался одну минуту.

Я видел пару глаз, с безмолвным ужасом

устремлённых на меня, и рванулся к протянутой с трапа руке.

Я схватил её, но рука была потная. Я схватил её не за кисть, а за пальцы.

Лодка сразу отпрянула в сторону, и я повис высоко над водой.

Потные пальцы — короткие нити жизни ускользали у меня из рук.

Взмывший вверх железной борт парохода коснулся моего тела и толкнул меня. Я сделал неестественное усилие, неопишное внутреннее усилие, от которого тело моё стало лёгким и поднялось как бы само собой. С страшной цепкостью я перехватил кисть протянутой мне руки и, вскрикнув от торжества и радости, одним движением очутился наверху.

В первое мгновение мне показалось, что ничего этого не было, что я видел страшный сон, и проснулся от моего собственного крика.

Но в глаза мои смотрели полные слез, восторга и счастья глаза, и дрожали протянутые руки.

Я собрал все свои силы, схватил эти руки и прижал их к губам.

Они бессильно опустили мне на плечи, и всхлипывающая грудь задрожала на моей груди.

Слава Богу, это давало мне возможность овладеть собою. Иначе она могла бы заметить, что я вовсе не был таким хладнокровным героем, как хотел предстать пред нею.

Птицелов

I

Макс Лихонин, или, как его для сокращения звали приятели — Макс Ли, шёл через парк по направлению к Ланжерону с девушкой, которая была мало похожа на его прежних возлюбленных.

Макс-Ли пользовался большим успехом даже и у дам местного общества.

Он не хвастался своими победами, но как-то так случилось, что об этом все в конце концов узнавали и все завидовали ему.

Секрет его успеха, однако, заключался не столько в его красоте, сколько в той репутации, которую создала ему молва. Он был спортсмен и игрок. Быть может, шулер. Несколько раз он выходил из весьма затруднительных положений только благодаря изумительной дерзости и самообладанию. Что-то было, но осталось тайной для большинства.

Тайна скользила за ним по тонкому канату.

Вот-вот сорвётся и увлечёт его в пропасть.

А пока что — Макс Ли герой в глазах дам, Максу Ли легко достаются его победы.

Но в последнее время он был явно разочарован в них. Или они утомили его. Он лениво и вяло говорил:

— Эти дамы, будь они из общества, или с кафешантанной эстрады, в сущности — одно и то же. У них нет ничего за душою, кроме тряпок, перьев и тому подобного вздора. Они скорее птицы, чем люди. Или я постарел, но мне скучно с ними.

Конечно, упоминание о старости было не более, как кокетство со стороны Макса Ли. Ему нельзя было дать и тридцать лет. Другой на его месте, правда, мог бы и в эти годы потускнеть и поблекнуть. Но Макс Ли знал цену жизни и очень берег себя.

Охлаждение к тем особам было налицо. Макс Ли, не боясь унизить свою репутацию в глазах случайных свидетелей, шёл рядом с простенькой девушкой, нисколько не похожей ни на даму из общества, ни, ещё менее, на артистическую звезду.

Правда, место было довольно диковатое: в

парке в это время прогуливались только влюблённые, которым решительно нет никакого дела до посторонних, если те не мешают им, да босяки, ищущие приюта среди деревьев и милостыни от размягчённых любовью сердец.

Маркс Ли глядел на милое лицо девушки, такое ясное и доверчивое, как будто она несла в себе душу этого дня, и с рассеянной улыбкой слушал её простую, неуверенную речь:

— Боже, как хорошо! И как я люблю это время. А вы?

— О, да, я тоже.

— Потом, когда все деревья распустятся, тогда уж не так хорошо. Правда ведь?

— Да, тогда уж совсем не то.

— Я рада, что у нас один вкус... то есть, в этом отношении... к природе. Мне просто целовать хочется эти деревья, почки, даже самую землю... От неё так вкусно пахнет!.. Знаете, мне кажется, что так же пахнет от маленьких чистеньких деток, чем-то тёплым и нежным... А эта трава... какая она пушистая, свежая! Так бы поцеловала.

Он обернулся к ней и прямо посмотрел в её

растроганное лицо и серые влажные глаза.

— И я... так бы и поцеловал вас!

Она покраснела.

— Ну, что ж... Поцелуйте. Здесь никто не видит.

И, не дожидаясь движения с его стороны, сама поцеловала его прямо в губы. Она совсем не умела целоваться: поцелуй её был лёгкий и как будто закрытый. Как не похож он был на поцелуй тех, которые не только умели целоваться, но даже вносили в поцелуи удивительное искусство, придавая им какую-то волнующую обнажённость, острый намёк на близость, проникающий в кровь.

Это было так ново и интересно для него. Ведь и прежде бывали подобные случаи, но как он не чувствовал той прелести, которая очаровывала его сейчас! Как он мог предпочитать им ласки искусных и искушённых особ, от которых в конце концов оставался только осадок мути.

Или для этого нужно было пожить?

Нет, всё, наверное, сделал удивительный весенний день; собственно говоря, первый весенний день в этот запоздалый сезон.

Он взглянул на землю с молодой, золотисто-зеленой травой и чёрными, ещё голыми, но уже ожившими деревьями на небо, такое глубоко-синее между белыми облаками, и ему показалось, что всё это он видит в первый раз.

Море сверкнуло фиолетово-зелёными тонами вдали, меж чёрных древесных стволов и красных крыш — и это он как будто видел в первый раз.

Он сам был удивлён этим открытием. Оно доставило ему непривычное удовольствие. Его надо было закрепить. Он ещё не знал, как, но ему смутно представлялось, что всё это тесно связано с этой простой, доверчивой девушкой, и он сказал ей настойчиво и вместе мягко:

— Нет, послушайте. Вы непременно нынче вечером должны прийти ко мне.

Она потупила глаза.

— Зачем?

— Я хочу поцеловать вас за всё, что я сейчас от вас слышу, что я чувствую. Словом, вы должны.

Он как бы обещал ей награду за своё на-

строение, но она как-то испугалась его великодушия.

— Но зачем же к вам? Разве здесь вы не можете поцеловать меня? Разве я не поцеловала вас сама?

Это не была наивность с её стороны. Она отлично знала, зачем он звал её, но у ней не было других отговорок и возражений, кроме этого невинного притворства.

— Здесь каждую минуту могут появиться люди... А я хочу вас поцеловать так глубоко-глубоко и долго. Никто не должен нарушить такого поцелуя. Слышите...

Он говорил уже с некоторой дрожью в голосе и наклонялся к ней, и его дыхание шевелило и сушило ей ресницы. Да, она слышала, слышала не только ушами, но и нервами, кровью, глазами, перед которыми эти слова пролетали, как огненные птицы.

В ней сразу что-то вспыхнуло, осветило её всю и почти сожгло тот терновый куст который ограждал её чувства от последнего взлёта в ту пугающую высоту, за которой всё было темно и жутко.

Он сжал её пальцы, требуя безмолвно и

нетерпеливо согласия.

Она обратила к нему умоляющий взгляд.

Он выпустил её пальцы и с лицом, сразу ставшим недовольным и холодным, сказал:

— Ты не любишь меня.

— Я приду, — твёрдо сказала она.

— Милая! — Он оглянулся кругом — никого не было. Он обеими руками взял её головку и поцеловал прямо в губы.

II

Они уже давно миновали парк и шли теперь по холмам над морем.

Оно было тут, рядом с ними и дальше — всюду, величественное, спокойное, пустынное... Казавшееся ещё более пустынным от одиноких парусов, которые пропадали в нём, как призраки.

Но тайна вечной жизни и движения сообщала ему великую неизъяснимую красоту. И, может быть, благодаря близости этой красоты не хотелось говорить.

Солнце было уже низко. Его сияние легко и воздушно стлалось по воде и по холмам, темно-красным на осыпях и покрытых нежной

травкой всюду вплоть до обрыва. Одинокие деревца, кустики с белыми цветочками, даже прошлогодняя, кое-где уцелевшая трава, — всё дышало первой чистотою и трепетом возрождения.

В открытых дачах раздавался стук топора и молотка: спешно готовились к сезону. Ученик художественного училища в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел прямо на земле и писал этюд. Какие-то пёстрые птицы пролетели щебечущей стаей. Изредка раздавались голоса, но они вместе с шорохом моря вливались в тишину, которая распахнулась здесь в прощальном сиянии солнца.

Да, говорить не хотелось. И о чем было говорить. Макс Ли победил и через несколько часов будет увенчан за победу. Он иногда, торжествуя, взглядывал на неё, а она уже больше не принадлежала себе. У неё не было ни колебаний, ни сомнений, но ей казалось, что она, как во сне, летит по воздуху и будет лететь, пока продлится этот сон, а дальше — бездна... тьма...

Сердце билось... захватывало дух. Она останавливалась иногда, чтобы перевести ды-

хание.

Детские голоса раздались в стороне, у холма, где топорщился мелкий кустарник. Человек десять детишек чем-то там оживлённо и хлопотливо были заняты. Они потянулись к детям.

Малыши, старшему из которых было лет тринадцать, выпускали из клеток птиц на свободу. Птицелов был старший, гимназист.

Большая клетка с различными пестревшими и бившимися в ней птицами была в его руках, и он, видимо, чувствовал свою необыкновенную исключительность и важность.

— Не сразу, не сразу выпускать! По одной! — раздавались возбуждённые голоса.

— Непременно по одной.

— Ну, вот ещё! Всех сразу! Им веселей лететь будет.

— Нет, по одной интересней.

— Вот ту, синичку, надо поскорей выпустить: она драчунья, она клюёт других птиц.

Гимназист-птицелов, заикаясь, внушительно заметил:

— С-с-инички в-с-егда та-а-аккие! Они н-не уживаются с с... другими птицами... Иногда

Н... на смерть их забивают... В... выклёвывают мозг и и... поедает его...

— Вроде как людоеды, — заметил востроглазый мальчуган, который, по-видимому, перед тем изображал индейца, так как в картузике у него было воткнуто перо, а из-под картузика торчала зелёная трава, изображавшая волосы.

Другой индеец с такими же волосами стоял, сосредоточенно наблюдая, с шевелившимся пальчиком в носу. Оба были с палками, очевидно, заменявшими им мустангов.

— А у нас в Лунькове эта птица зовётся старчик, — тоненьким голоском вставил своё слово круглоголовый мальчуган в шапке с надписью *Герой* — и страшно покраснел.

— Г... где это — у вас?

— В Лунькове, — ещё гуще краснея и переступая с ноги на ногу повторил *Герой*.

— Сам-то ты старчик! — со смехом отозвались другие, видимо заискивая перед гимназистом, и даже не поинтересовались узнать, где это Луньково. Гимназист прикрикнул на окружавших его детей.

— Ч... что же вы с...стоите со всех сторон.

Т...так через вас и птицы не полетят.

Но, по-видимому, тут у него было другое соображение: ему льстило, что двое взрослых людей, красивая девушка, да ещё такой важный франт, интересуются его делом, и он хотел им показать всё, что мог.

Дети с любопытством взглянули на взрослых, но тотчас же забыли о них.

Гимназист отворил дверцы клетки. Птицы продолжали биться в ней, но ни одна не верила и не догадывалась о своей свободе.

— Они не хотят лететь! Они не хотят лететь! — закричали дети и захлопали в ладоши.

Индеец номер 2-ой, вынул пальчик из носа и тоже захлопал в ладоши, уже после того, как все перестали.

Но на него никто не оглянулся: из клетки вылетела маленькая птичка с зеленовато-оливковой спинкой и серыми крылышками, отчёркнутыми зеленоватыми каёмкам. Она была так слаба, что села на нижнюю веточку ближайшего куста и чирикнула: чек-чек, — как будто спрашивая, правда ли, что она свободна.

Дети радостно засмеялись и запрыгали. Испуганная птичка пробовала полететь, но опустилась только на соседний куст.

— Это п...пеночка, — важно пояснил птицелов. — Она редко выживает в неволе... В... вон как ослабела... Н-ну д...да... оправится...

— Оправится! Оправится! — подхватили дети.

— Только как бы коршун её не съел, — выразил кто-то опасение.

— А у нас в Лунькове её зовут не пеночка, а дерябка, — снова отозвался Герой, и опять покраснел, как мак.

— С... сам ты дерябка! — снова сострил гимназист, и опять все захохотали над мальчиком. Но в это время из клетки вылетела третья птичка... и все обратили глаза к ней.

— Чижик...

*Чижик, пыжик, где ты был?
На фонтанке водку пил...*

запел кто-то из детей.

— А у нас в Лунькове... — слышался было опять тоненький голосок. Но тут кто-то докончил за него, подражая ему:

— Чижики водку не пьют.

Все так и покатались со смеху. Даже гимназист-птицелов, относившийся с снисходительным пренебрежением ко всем замечаниям приезжего из Лунькова, засмеялся.

Тот окончательно переконфузился и спрятался за спину молчаливого флегматичного карапуза с зеленой коробкой, висевшей на ремешке, перекинутом через плечо. На коробке было написано — «Естествоиспытатель».

— Вы что это собираете? — постукав по коробке пальцем, спросил естествоиспытателя Макс-Ли.

Тот солидно ответит:

— Цветов, бабочков, тараканов и других зверей.

Макс Ли весело расхохотался. Естествоиспытатель уже хотел обидеться, но девушка быстро наклонилась к нему и поцеловала в надувшиеся губки.

— О, милый! Милый!

За чижиком вылетел снегирь, за снегирём — красношейка.

О каждой из этих птиц их владетель сообщал что-нибудь поучительное.

Лёгкие красивые птички, вылетавшие на свободу из своей тюрьмы после долгого зимнего плена, радостно приветствовались этими детишками, которые сами были беспечны и трогательны как птички.

Было что-то, до такой степени чистое, радостно-светлое, почти святое в этом освобождении птиц на закате первого весеннего дня, что даже Макс Ли был умилен и взволнован. И как всегда, когда видишь что-нибудь истинно прекрасное, ему казалось, что он видел это в детстве и, главное, переживал то же, что переживали эти дети. Он, растроганный, смеялся и торжествовал заодно с ними и, взглядывая иногда на свою спутницу, испытывал к ней настоящую нежность, безотчётную благодарность за эту свежесть забытых переживаний.

Она это чувствовала и была бесконечно счастлива.

Редко какая из птичек сразу улетала далеко. Большинство, помахав отучившимися от полёта крылышками, садились на соседние деревца и кустики. Они вопросительно и отрывисто чиликали, как будто пробовали свои

голоса или благодарили за освобождение.

Только одна, последняя, с шиловидным клювом, очевидно, долго не верившая раскрытой дверце, наконец сразу выпорхнула из клетки, стремительно метнулась в пространство и, ныряя низко над землёю, скоро исчезла.

— Прощай, — сказал гимназист и вздохнул. — Она лучше всех поёт. Тех я осенью и зимой ловил, а эту недавно поймал, когда холода были.

— Зачем же ловить, коль выпускать, — положительно заметил мимо шедший парень-рыбак с вёслами за плечами. — Уж лучше продать.

Гимназист заволновался и стал заикаться ещё больше.

— З... зачем?.. К... как зач...чем! Зимой они замёрзли бы... Это больше отсталые. Да и корм зимой им трудно разыскивать. А продать?.. Я и... не нуждаюсь.

— Доброту свою хотят показать... Баре! Делать-то нечего, так и выдумывают... — фыркнул рыбак и пошёл дальше.

Дети как-то присмирели и с недоумением,

почти с испугом поглядели ему вслед.

— Животное! — пробормотал Макс Ли и, чтобы загладить неприятное впечатление, спросил растерявшегося гимназиста:

— Скажите, пожалуйста, а как называлась последняя птичка?

— Славка, — радостно ответил тот.

— А у нас в Лунькове её пестрогрудкой зовут, — быстро выпалил тоненький голосок, но прежде, чем вокруг раздался взрыв детского смеха, он расхохотался сам и, весь красный, присел от смущения за естествоиспытателем.

Смущение, вызванное грубым вторжением рыбака, сразу разлетелось без следа, и детьми овладело ещё более радостное и беспечное настроение. Индейцы вскочили верхом на мустангов и помчались по холмам.

Естествоиспытатель, переваливаясь, пошёл собирать «тараканов, цветов, бабочков и прочих зверей».

Другие дети также стали расходиться. Гимназист с пустой клеткой уже потерял своё обаяние, но зато, по-видимому, сам чувствовал себя как нельзя лучше.

Макс Ли посмотрел на него, потом на девушку, и лицо его стало ещё мягче и привлекательнее.

Она стояла задумавшаяся, и в её лице, обвевном закатом, была покорная печаль и ласка.

— О чем ты думаешь? — тихо спросил он её и взял за руку.

— Я думаю... я думаю... — смешалась она, не сразу отдавая себе отчёт. — Я думала, что должна чувствовать птица, когда её выпускают на волю... Глупо... Не правда ли?

Он покачал головой: нет, меньше всего он видит в этом глупость.

— Ты милая... славная... А знаешь, о чем думал я?.. Что должен чувствовать птицелов, выпускающий птицу на свободу.

Она, ещё ничего не подозревая, засмеялась.

Тогда он положил ей руки на плечи и, стараясь подавить волнение, сказал серьёзно, почти строго:

— Ты нынче не должна приходить ко мне... Не нынче, никогда... Слышишь...

— Ты не любишь меня? — вырвалось у ней

прежде, чем она задумалась над его словами и волнением.

— Нет, именно потому, что сейчас, понимаешь ли, сейчас... Я люблю тебя, моя птичка... Мы останемся друзьями.

Любовь и смерть

Дул мягкий весенний ветер, и светлый день сиял от солнца.

Небо было так сине и молодо, что пухлые подвижные облака в нём казались ослепительно белыми и светящимися.

По берегу моря шла барышня, а рядом с ней, в расстёгнутом пальто, молодой человек. Должно быть, художник: в руках у него был испачканный красками этюдник. Она была тоненькая, высокая, со стриженной, как у мальчика, головой и с непринуждёнными, немного мальчишескими манерами, которые ей шли, потому что она была хорошенькая, и не только не лишали её женственности, а напротив, придавали привлекательность и грацию.

Солнечные лучи падали ей на глаза, на зубы, на щеки.

Она жмурилась от них, с наслаждением подставляя своё лицо, светившееся персиковой кожей.

С размаха бросила в море камень, сорвала с его головы фуражку, а вместо неё надела

ему на голову со смехом свою лёгкую с плоскими полями шляпу.

Он дурашливо сделал книксен и застегнул на резинку шляпу, придавшую его молодому скуластому лицу забавный вид.

Ей велика была его фуражка с академическим значком: пришлось сдвинуть её на затылок, чтобы как-нибудь держалась.

Солнечный луч блестел на металлическом значке, точно ему также хотелось принять участие в их искренних дурачествах, и волны смеющимися струями бежали к их ногам, сверкая на всём необъятном просторе такими яркими, свежими и весёлыми красками, точно и у них был праздник и они были влюблены друг в друга.

Песок приятно хрустел под ногами.

Из города, облагороженный далью, доносился пасхальный звон колоколов, и всё это, вместе с их голосами и плеском моря, составляло одну сильную, красивую музыку, которая звучала и у них в крови.

Темно-красные осыпи скал и золотисто-зелёная весенняя трава, которую ещё не успели лишить первой свежести горячие вздохи вет-

ров и жадные солнечные лучи; ветки деревьев и кустарника, блестящие на солнце, как стеклярус; ещё не истоптанные извивающиеся тропинки, и воздух, и вода, и небо — всё это казалось им так ново, точно они видели это в первый раз и в первый раз весна была на земле.

Они оба как-то сразу замолчали и шли, прижавшись друг к другу, тихо покачиваясь из стороны в сторону, полные печалью счастья, высшей, чем само счастье.

И когда они взглядывали в глаза друг другу, в них светилось всё, что праздновало вокруг весну.

То на обрывах над ними, то вдали на песке показывались фигуры, и влюблённые не могли ни на минуту остаться одни.

— Нет, нет... увидят... увидят... — шептала она, когда он делал попытку наклониться к её губам.

Он вслух выразил желание, чтобы все люди вокруг провалились, окаменели, и они остались вдвоём на этом берегу.

За скалами, выступавшими в море, звякнул выстрел... другой.

Она тихо вскрикнула и отшатнулась от него.

Камень, шурша, скатился с обрыва от звука выстрела и за ним, как дымок, закурилась пылью земля. Чайки, дремавшие на воде, испуганно поднялись и замелькали над водой ослепительно-белыми подкрыльями.

После выстрела тишина стала как-то особенно молчалива и возбуждённо-выжидательна.

— Это стреляют чаек, — сказал он, желая успокоить.

— Да, да, чаек, — машинально ответила она, стоя всё ещё с широко-открытыми глазами. — Как это нехорошо!

— Полно. Что за сентиментальность.

Однако, снял с себя её шляпу. Они поменялись.

— Я не нахожу... А, впрочем, может быть... Но только как же это? В такое утро лишить жизни дикую птицу, для которой — это море, эти скалы и песок... Право нехорошо.

— Стоит ли говорить о таких пустяках.

— Нет, это не пустяк. Особенно в такой день! Ему это было бы больно.

— Кому?

— Христу!

— Ах, вот ты о чем!

— Я вовсе говорю это не потому, что религиозна, — почти оправдывалась она. — А всё же... Верили же в Него люди почти две тысячи лет... И вдруг, такая бесплодная жестокость.

— Ну, полно! Это почти то же самое, что сорвать цветок сломать ветку, поймать рыбу...

— Как можно!

— Ну, да же!

— А, по-моему, убить вот хоть эту чайку, когда она так счастлива, пролить кровь... Нет, это ужасно!

— Ничего нет ужасного! — возразил он с преувеличенной твёрдостью. — И жизнь и смерть в природе одинаково прекрасны. И не всё ли равно чайке, когда умрёт она. Именно в такое-то утро и хорошо умереть. Разве тебе не хочется умереть, когда ты очень счастлива?

— Да, — подумавши ответила она. — Но это не то.

— Надо же быть логичной, — заметил он,

резонёрски морща брови, хотя это не шло к нему, и тут же, наклонившись, поднял небольшой конвертик из которого выпала мужская визитная карточка.

С любопытством взглянул на карточку; она была исписана карандашом и едва можно было разобрать:

«Прохожий! Кто бы ты ни был, благослови небо за то, что оно дало тебе глаза, чтобы видеть всё это, и уши, чтобы слышать и...»

Дальше трудно было разобрать. Легче догадаться.

— Чудак! — сказала она. — Посмотри, кто это такой?

— Разве это важно!

Однако он взглянул на обратную сторону карточки. Краска сошла с букв на конверт от морской влаги. Не стоило тратить время разбирать имя.

— Вот странно! Это так подходит к нашему разговору.

— О, всё, что есть вокруг, — более убедительно, чем эти банальный восклицания. Впрочем, эта карточка заслуживает, чтобы её подарить морю.

Он скомкал картон вместе с конвертом и швырнул в воду.

Плескалось море. Тихо гладил лицо и шевелил волосы ветер... Издали, из города доносился перезвон пасхальных колоколов.

Неожиданный тревожный и резкий звук жадно ворвался в эту музыку и всё перепутал в ней, как кроваво-красная струя, хлынувшая в фонтан.

Это поразило обоих сильнее, чем выстрел.

— Рожок «Скорой помощи»! — первый пробормотал он.

— Да

— Так близко!

— Зачем она может быть здесь?

— Кто-нибудь утонул!

— А может быть...

— Что?

— Эти выстрелы!..

Они торопливо пошли, почти побежали по песку по направлению к тем красным с пушистой золотисто-зеленой травой скалам, из-за которых слышали выстрел.

Выбежав из-за излучины, они увидели по другую сторону скал, образовавших скрытую

от них котловину, — бегущих людей. Люди бежали молча, и все они казались одетыми в чёрное.

Вдали у деревянной бревенчатой дамбы, к которой спускалась дорога, стояла пара лошадей и небольшая карета.

У одного из бежавших оттуда блестело что-то вокруг головы, как золотой венчик. Сам он был толстый и дико было его видеть, спешащим на своих коротких ногах.

И влюблённые также бежали навстречу, к тем же выступавшим в море молчаливым скалам, как будто это могло кого-нибудь спасти.

И каждый спешил добежать как можно скорее... Не затем, чтобы спасти, а затем, чтобы в это молодое смеющееся утро увидеть кровь, увидеть чудовищный образ смерти.

Может быть, этого и недоставало всем, чтобы постичь бессмертную красоту и смысл улыбки, которая сияла вокруг и пела, как счастье.

И эти двое прибежали первые.

Но там, в этом углублении, образуемом скалами, тоже было двое.

Один лежал на песке, почти у самых волн, другой... нет, это была женщина — стояла над ним с сосредоточенным, бледным лицом. Впрочем, женщина была совсем простая, должно быть швея, даже работница.

Она возилась около того, что лежал на песке, расстёгивала его платье, ворот его рубашки, белой как пена.

Но видно было, что она ему чужая: в ней не сказывалось ни горя, ни отчаяния. Притом же она была слишком бедно одета сравнительно с ним.

К запаху моря и весенней травы, и земли примешивался тут странный запах палёного. Пиджак его тлел сбоку и там же, на белой рубашке видно было пятнышко крови.

Такое же пятнышко было и на правом виске, к которому спускались пряди светлых молодых волос.

С досадным любопытством, страхом и жалостью глядели они на него, боясь приблизиться, и наряду со всеми этими чувствами, здесь, близ кровавого горя, вырастал и ярче вставало их личное счастье.

Любовь стояла рядом со смертью и от трау-

ра смерти ярче сверкала жадность любви.

Не прошло и минуты, как около самоубийцы образовался целый кружок людей, тупо и с ужасом глядевших в открытые, безучастно устремлённые в небо серые глаза.

Вместо бедной женщины теперь перед телом на коленях стоял тот самый толстый человек, который бежал по песку, и венчик, сиявших вокруг его головы, оказался просто околышем его докторской кепи.

В воздухе пахло карболкой, и этот запах как-то болезненно заглушал запахи моря, воздуха и земли.

Ключья белой ваты становились красными, побывав у груди лежащего человека, белой и нежной. Они валялись около камней и качались на воде, возле берега, неприятно и зловеще окрашивая зеленоватую прозрачную влагу.

А он лежал неподвижно. Только белая грудь вздымалась тяжело и редко, и неприятно черно глядели отверстия прямого и красивого носа.

Самоубийца был довольно высок ростом; дико было видеть у него на ногах новые рези-

новый калоши, блестявшие на солнце.

Равнодушный околоточный надзиратель с заспанным лицом осматривал его карманы, вынимал из них незначительные вещи: мелочь, спички, платок, записную книжку. Наконец попался паспорт.

И все жадно потянулись, чтобы узнать имя самоубийцы. Оно всем было неизвестно. Бедно одетая женщина и мастеровой рассказывали, как они первые увидели его тут, вот в этом самом положении... Только в руке у него был револьвер, из которого он имел силы выстрелить в себя два раза: один раз в висок, другой в грудь.

Тогда мужчина побежал звать на помощь, а женщина осталась при нём.

— Может, выживет?

— Где выжить!

Их показания записал полицейский. Но когда стал записывать их имена и адреса, они испугались.

— Охота была путаться. Я тебе говорила, — сердито заметила женщина своему спутнику.

— А что ж, как собаку оставить тут валяться! — зло отозвался он.

Какой-то студент многословно успокаивал свидетелей, что им нечего бояться и что они исполнили только свой долг.

— А зачем записывают?

— Для порядка.

Тогда оба стали словоохотливее и много рассказывали, как они первые увидели несчастного.

И все слушали и завидовали, что они были первые.

— И ведь в какой день жизни себя затеял решить!

— Круто должно быть пришлось?

— А всё же грех.

— Да, может, он не православный.

— Имя православное.

— Как есть русский.

Его перевязали, бережно взяли за руки и за ноги... Другие поддерживали с боков.

И понесли.

Толпа двинулась за этим печальным шествием, и все старались запечатлеть в своей памяти молодые черты, проникнуть за стеклянную холодность серых глаз, чтобы прочесть тайну его смерти и жизни.

Он был чужой всем им, когда жил и страдал. Чужой всем.

А теперь люди не сводили с него глаз и спрашивали молча и шёпотом друг друга:

— Как он мог?

Если бы страдающий, он шёл рядом с ними, они бы не обратили на него внимания. А может быть, одно слово братского участия могло спасти его от смерти — от самоубийства... да ещё в такой день.

Христос! Назывались ли бы они твоим именем, если бы ты не был распят и не пролил кровь свою на Голгофе за них?

Та кровь была жертвой искупления.

А эта?

Не падёт ли она на тех, кто шёл за его телом, уже охваченным агонией? И на всех, кто сейчас празднует этот великий день и дышит его голубым ароматным дыханием.

Толпа ушла, и остались только двое... Только двое... Он и она.

Они стояли молча около того самого места, где лежал самоубийца, боясь взглянуть друг другу в глаза.

Пахло карболкой и морем. Окровавленные

ключья ваты валялись на песке и плавали около берега на воде, окрашивая её зловещим пурпуром.

Зато дальше вода была зелёная, как ярь. Лишь кое-где фиолетовыми пятнами выступали сквозь неё камни.

На сыром влажном песке ещё чётко вырисовался след от лежащего тела. Здесь, полчаса тому назад, он стоял сильный и живой, но уже обрётший себя на смерть. Если бы они тогда встретили его!.. Ну, что ж! Им было бы досадно, что посторонние глаза увидели их счастье. Они хотели быть одни. Спрятанное от других, оно делало их богаче.

Скрылась карета... Скрылись люди... Здесь было пустынно; ни справа, ни слева их почти не было видно за скалами и мшистыми камнями, уходившими в море.

Один из камней далеко от берега выступал чёрным гребнем и его то заливала, то открывала вода.

Острый парус блестел вдалеке, где море было густо-синего цвета.

Чайки лениво носились над водою на распущенных крыльях.

Тихо плескались волны. Из города нежно доносился колокольный звон.

А они боялись взглянуть друг другу в глаза, чтобы из них искрами не посыпалась торжествующая сила жизни и молодости.

— Бедняга! Как мне жаль его! — сдерживая несответственной печалью голос, в котором звенела совсем другая музыка, как бы про себя сказала она.

— Жаль! — как эхо, повторил он, но голос его был далеко от него. Он стал смотреть на неё пристально, почти хищно, а она чувствовала на себе этот взгляд, но стояла, опустив голову.

— Жаль... жаль... жаль... — повторял он, чужой этим лицемерным звукам, продолжая всё также глядеть на неё.

Какая-то сила подхватила его и толкнула к ней.

Он сбоку запрокинул её голову и впился прямо в губы, и их облитые поцелуем взгляды, счастливые и жадные, близко-близко переливались из глаз в глаза, в то время, как губы не размыкались.

Крикнула чайка.

Она отшатнулась.

— Здесь никого нет, — задыхаясь, прошептал он. — Нас тут увидеть никто не может. Здесь хорошо... Хорошо!

Для этого им достаточно было наклониться, сесть. Тогда их никто не мог заметить из-за камней.

Она, вся дрожа, бессильно и покорно опустилась как раз на то место, где лежал самоубийца.

Теперь она уже не могла глядеть в глаза тому, кого любила! Счастье слишком отягочало веки.

И поцелуи его закрывали ресницы. Они, как солнечные лучи, падали ей на глаза, на губы, на щеки...

Феномен

Звонили, очевидно, не в первый раз. Но сон отделял первый звонок от сознания таинственной границей иного, чуждого мира. Теперь звонок разбил эту границу и коснулся сознания.

Акушерка тревожно открыла глаза.

Звонок продолжался. Он наполнял сумрак настойчивым призывом.

— Гаша! Агафья! Гашка!

Прислуга не отзывалась. Пришлось бежать в одной рубашке в кухню и растолкать её, а сама Марья Симоновна, ёжась от холода, накинула юбку и платок и размышляла, к какой роженице зовут её.

Но среди клиенток не было ни одной на эту ночь. Или неблагополучно, или, значит, к незнакомой.

Так и оказалось.

Она высунула голову в дверь и увидела своего дворника с другим мужиком, также дворником, посланным от родильницы.

— К незнакомым не пойду! — решительно заявила акушерка. — Я всю прошлую ночь не

спала, а нынче опять тащиться невесть куда в полночь!

— Помилуйте, какая теперь полночь! Седьмой час утра. Светает... Да и недалеко это... На пять минут ходу, а дело-то такое, что некогда другую разыскивать.

Акушерка с досадой крикнула.

— А кто такая? Молодая? Старая?.. Кто?

— Да так, совсем пигалица. Студентова жена. Всего четыре месяца, как поженились... Бедняки...

— Ну, так... час от часу не легче, — ворчала акушерка, с досадой набрасывая на себя что надо, и к её недовольству прибавилось, как всегда в таких случаях, неприятное чувство неуверенности и беспокойства.

Ещё она вся дрожала от ощущения неестественного холода, охватившего её после сна и ледяного умывания, когда вышла с провожаемым на улицу.

В самом деле, уже рассветало. Но и рассвет, казалось, был проникнут тою же томительной холодной дрожью, как и акушерка, точно и его, невыспавшегося как следует, разбудили для неприятной и ответственной обязанно-

сти.

Проехал извозчик порожняком; нанимать не стоило — близко. Дворник, чтобы развлечь спутницу, ни с того, ни с сего брякнул:

— А сейчас, мимо нас, опять человека вешать провезли.

— Как вешать? Откуда?

— А из тюрьмы; почти каждую ночь везут... В карете, и верховые по бокам.

Акушерка покачала головой. Она представила себе, как человек вешает, быть может, как раз в эту минуту, другого человека и содрогнулась, не столько за того, кого вешают, сколько за вешающего. Жутко и непонятно. В то время, как она помогает появлению людей на свет, другой — как раз наоборот. Может и в самом деле лучше уже не родиться, чем жить и видеть такие вещи? А ведь когда-то такая же, как она, акушерка, помогала им обоим появиться на свет. Может быть, даже одна и та же акушерка!

Она вздохнула, ещё не разобравшись путём в этих нелепостях жизни, и вошла за дворником в калитку маленького двора, ограниченного со всех сторон сонными стенами, с

раскрытыми кое-где, как бы зевающими, па-
стями дверей и множеством окон, тёмных в
большинстве и только мутно и как-то злобно
глядевших наружу.

— Сюда, сюда, — вёл за собой дворник аку-
шерку по лестнице.

Стеклянная галерея. Частые двери.

— Здесь.

Он, даже не позвонив, дёрнул ручку двери
и впустил акушерку в комнату больной.

Молодой человек в студенческой тужурке
с встревоженным лицом бросился к акушер-
ке.

— Ах, наконец-то! Боже мой, она так стра-
дает!

— Ничего... Ничего... посмотрим, батенька!

Батенька сунул руку в один карман, в дру-
гой, — мелочи не было, — попался рубль, и он
ткнул его в руку выжидательно стоявшему
дворнику. Тот ушёл, оставив после себя запах
овчины и сырости. Студент хотел помочь аку-
шерке снять кофту. Но она воспротивилась с
громким смехом:

— Нет я сама. Не люблю таких нежностей.

Этот смех удивил и почти оскорбил его. Он

взглянул на дверь, за которой стонала больная, и торопливо забормотал с укором:

— Я боюсь, что дело серьёзное... Всего четыре месяца, а живот такой большой... Может быть двойни... даже тройни, и вдруг... такое несчастье...

— Посмотрим, посмотрим... Если серьёзное дело, доктора надо позвать, батенька.

— Я и думал доктора, но она и слышать не хочет. Непременно потребовала акушерку — говорит...

— Ладно, ладно, батенька, посмотрим! — на этот раз деловито перебила его акушерка. — Вы вот скажите, где мне у вас тут умыться и переодеться?

Она окинула взглядом маленькую комнату; стол, заваленный бумагами и книгами, над которым совсем нелепо красовались приколотые булавками японские бумажные веера и открытки с картинками, — следы убогого женского вкуса; клеёнчатая кушетка, два стула...

— Сюда... уж простите... умываемся в кухне. Ещё не совсем устроились, — бормотал он, проникаясь доверием к этой крупной женщи-

не с мужским выражением лица, с усиками над губой и громким голосом.

Он провёл её в крошечную кухню, и в то время, как она стала тщательно поливать из крана намыленные руки, старательно продолжал сообщать ей:

— Это случилось так неожиданно, без всякой видимой причины. Она ни вчера, ни раньше ни на что не жаловалась, а нынче вдруг началось... И то с вечера всё скрывала от меня.

— Так, так... посмотрим... — с ободряющей улыбкой говорила она, энергичными мужскими движениями вытирая руки и глядя прямо в широкое совсем юное лицо студента с белокурой бородой, оставлявшей чистым почти весь подбородок.

— Первая беременность? — строгим голосом спросила она его.

Он сразу принял вид экзаменуемого:

— Первая. — Но тут уже у него сорвалось совсем другим тоном:

— Да я же говорю вам, что всего четыре месяца, как мы поженились!

Она рассмеялась.

— Ничего, ничего, вы не обижайтесь... Я ведь это вообще... Ну-с, а теперь — мне нужно переодеться... Уйдите-ка, батенька.

Он прямо из кухни поспешил к больной, чтобы ободрить её:

— Пришла... сейчас будет... ну, что? Как?

Больная, не глядя на него, ответила:

— Ничего... ты не беспокойся... лучше бы... ты ушёл...

— Как... ушёл?!

— Сходил бы за мамой... Да, да, непременно за мамой...

Акушерка, переодетая в белый халат, вошла твёрдыми шагами, как будто входила в свою комнату.

Худощавое, почти детское личико, с тою банальностью в выражении, которая даже красивые черты лишает привлекательности, казалось ещё меньше и худее от чёрных окружавших его волос.

— Да вы не только молодая, но и бессовестно молодая, — со смехом высказала акушерка своё впечатление. — Ну, здравствуйте... здравствуйте... что у вас тут такое... посмотрим, батенька.

Больная жалко улыбнулась глазами и перевела их как-то вскользь нетерпеливо на мужа, который взглядывал с растерянным вопросом то на жену, то на акушерку.

Он ответил нерешительно на взгляд жены:

— Вот она хочет, чтобы я съездил за её матерью.

— Ну, что же, за матерью, так за матерью. Мы и одни пока что управимся... Вата у вас гигроскопическая есть?

— Нет, ваты нет.

— Вот, кстати, и ваты по пути купите, да и ещё кое-что. Я запишу сейчас, а то вашей голове, я думаю, не до того, чтобы помнить такие штуки. Ну, марш, батенька, скорее, а мы здесь поисповедуемся.

Она выпроводила студента и подошла снова к кровати больной.

Та лежала, полузакрыв глаза, устало мерцающим взглядом скользнув по акушерке, и провела языком по сухим нежным губам; очевидно, приготовляясь говорить.

Но прежде всех расспросов акушерка дунула в свои руки, ещё свежие от воды, и, опустившись на стул подле постели, осторожно

стянула до колен одеяло с больной.

Взглянув на её большой живот, она медленно и косо перевела глаза на лицо роженицы, и та ответила ей таким же косым взглядом, после которого тотчас закрыла глаза.

— Т-а-а-к, — протянула акушерка. — Ну, исповедуйтесь.

Роженица молчала.

Теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, лицо её было прекрасно и невинно, как у ребёнка. Очевидно, именно взгляд, в котором сказывалась пошлость, ещё не успевшая передаться чертам, отнимал у них драгоценнейшее свойство.

Акушерка приступила к исследованию.

Беременность была вполне нормальная и, как показалось акушерке, не первая.

Она сообщила свои подозрения роженице.

Та продолжала молчать.

— Ну, что тут скрывать передо мною! Впрочем, как хотите... Как чувствуете себя? Схватки были?

— Были... Ах, да!.. Верно, уж скоро?

— Да, по-видимому...

— Я... я скажу вам все... не первая... было

два... два...

— Аборта?

— Да... два...

Акушерка, выдавшая виды, ахнула.

— Да сколько же вам лет, батенька?

— Восемнадцать.

— Так, так... — Она хотела по привычке рассмеяться, но на мгновение осталась с открытым в изумлении ртом, а затем философски закончила:

— Бывает... Но чего же вы от мужа-то скрывали? Ведь это от него?

— Нет, мы только четыре месяца женаты.

— Могло случиться и до брака... — пояснила акушерка, которой хотелось, чтобы это было именно так. — Значит, от другого?

— Да.

Это уже было любопытно. Она спросила:

— Ну, а те разы?..

— Тоже... от разных...

— Отчего же вы не вышли замуж за... ну, хоть за того, от кого теперь забеременели?

— Он... он умер. Да, он вскоре умер.

— Как же теперь этот? Он, вы знаете... ведь он убеждён, что у вас неблагополучно... всего

четыре месяца... может быть, двойни — тройни...

— Ах, он ничего не понимает в этом...

— Так... так... бывает.

Акушерка опять хотела расхохотаться и опять осеклась и только подумала про себя: «Вот феномен!»

— Но ведь теперь-то уж не обманешь его!

— Да... — ответила та с сожалением и закрыла глаза.

И опять ангельское лицо поразило акушерку своей чистотой и невинностью.

Ей стало жаль эту маленькую грешницу, которая, верно, не ведала, что творила.

К тому же лицо её вдруг исказилось болью родовых схваток. Она вся вытянулась, вжала голову в подушку и застонала, скрипя от боли ровными прекрасными зубами.

Акушерка стала успокаивать её.

— Ничего, ничего... потерпите, — она хотела сказать обычное слово: батенька, но вместо этого сказала непривычное ей слово, — деточка, — все будет хорошо.

Схватка отпустила. Лицо роженицы покрылось потом, и глаза сразу как-то запали

глубоко в синие крути. Она устало дышала и изредка тихо стонала, и стоны её скорее походили на глубокие вздохи. Акушерка приписала их нравственным страданиям и всеми силами хотела её успокоить:

— Бог даст всё обойдётся... Вы оба молодые. Поплачете вдвоём и всё тут... бывает... Вас тоже ведь нельзя очень-то винить... ребёнок совсем...

— Нет, нет, я виновата... — слабо опровергала та. — Сама виновата. Если бы я раньше его на себе женила, всё было бы хорошо...

— Что вы говорите! Но ведь это был бы обман на всю жизнь... Нет, уж лучше...

— Вы думаете... как те два? — слабо перебила её та. — Да, конечно, и это было бы хорошо... Но я всё надеялась, что удастся, если не женить, то раньше... ну, словом... раньше скрыть... а потом было уже поздно. Я боялась после трёх месяцев...

У ней снова начались схватки. Она стонала, ломала руки и в промежутках, когда её немного отпускало, спрашивала акушерку, не умрёт ли она.

— Нет, нет, всё будет благополучно.

— Всё в порядке и таз отличный... И отлично сделали, что не успели... Ведь это... это нехорошо, батенька. — Она вспомнила разговор про казнь, и теперь ей представилось как-то внутренне-ясно, что сделать выкидыш — это тоже похоже на казнь.

— Я так хочу жить!

Застучали в коридоре. Он вернулся и уже из соседней комнаты крикнул:

— Мама сейчас будет! Ну что? Как?

— Ничего, ничего, — успокаивала его акушерка.

— Вы вот давайте-ка сюда стол, да накройте его простыней и дайте полотенце, что ли...

Она стала энергично командовать им, и он с механическим усердием выполнял все её приказания.

— Может быть, доктора нужно?

— Нет, обойдётся и без доктора.

Она изредка взглядывала на этого наивно-го парня, который то и дело подходил на цыпочках к постели больной и с страстной нежностью и жалостью спрашивал:

— Ну, что?.. Как?..

Предупредить его или делать своё дело...

не мешаться в эту тяжёлую историю?

Не успела она ещё решить этого вопроса, как начались роды. Он схватился за голову и бросился к жене.

— Вот что батенька, вы уходите-ка отсюда пока что... и без вас справимся... — обратилась к нему акушерка и почти вытолкала его из комнаты.

Оставшись один, он покорно остановился у двери, стиснув голову обеими руками. С глазами, которые были широко открыты, как будто также хотели слышать малейший вздох оттуда, напряжённо прислушивался. Когда стоны возобновлялись, он бросался от двери в кухню с выражением бесконечной муки в лице, сжимался где-нибудь в углу и боялся дышать. Ему было страшно и тяжело; он считал себя прямым виновником страданий этой маленькой, любимой им женщины, почти ребёнка, и минутами хотел исчезнуть, превратиться в какую-то точку, распасться как прах, чтобы только не слышать её стонов, не знать об её страданиях.

Если бы это случилось не теперь, а своевременно, через пять месяцев, тогда было бы

за что и пострадать. А теперь страдать так из-за того, чтобы увидеть безжизненный кусок мяса, это ужасно!..

Он не выдержал и заплакал.

Но вода, закипавшая в чайнике на керосинке, остановила его слёзы. Он поспешно снял чайник и в ту же минуту услышал ясный детский крик, смешавший тягучие раздиравшие душу стоны его жены.

Чайник едва не выпал у него из рук.

Он бросился опять к двери, но, остановился перед ней с страшно бьющимся сердцем, с дрожью во всех членах.

Детский крик повторился.

Он кинулся обратно в кухню и остановился посередине её, потрясённый чудовищной догадкой.

Окаменел в своей неподвижности, которая продолжалась целую вечность, а может быть одно мгновение — не слышал и не заметил, как пришла её мать, толстая, самодовольная женщина с неизменно торчащей в уголке фиолетовых губ папиросой.

Вдруг он опомнился, и ещё не высохшие слёзы на его ресницах и глазах слились с дру-

гими слезами, хлынувшими вслед за ними:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой!.. — шептал он без конца, чувствуя, как сразу все в его мозгу изменило свой облик, свой смысл, точно вселенная вывернулась наизнанку со всем своим добром и злом, красотой и безобразием.

Теперь он ясно слышал, кроме этого непрерывного детского писка, резкий голос тётки, сопровождаемый довольным смехом.

— Нет, каков зятёк. А! Четыре месяца! Двойни! Тройни! Как он провёл меня. А! Целых пять месяцев до свадьбы они меня дурачили!.. А ведь такой тихоня. Такой невинностью прикидывался!.. Ну, я посмеюсь над ним!

Во время этой бравурной речи акушерка напрасно останавливала расходившуюся тётку. Но вот голос той мгновенно осёкся, и вслед за тем что-то тяжело хлопнулось на стул.

— Поняла. Вразумили, — с горечью пробормотал он и почувствовал сразу прилив бесконечной злобы, остановивший и осушивший его слёзы.

Акушерка вбежала, схватила чайник и ушла: один вид его всё объяснил ей.

Он продолжал стоять, не двигаясь с места. Опять время исчезло куда-то, и была только одна мутная пустота, в которой раздражающей насмешкой раздавался этот, непрерывный писк.

Закрыв глаза, чувствуя, что начинает медленно опускаться в эту пустоту, и тут же ощутил, что кто-то взял его за руку.

Не отдернул руки. Открыл глаза. Акушерка стояла перед ним в своём белом одеянии; от этой белизны становилось холодно.

— Ну что! — грубовато обратилась она к нему. — Нечего уж, значит, объяснять? Тем лучше. Что же поделаешь... бывает, батенька.

Отчаянное выражение его лица напугало её.

— Ну, не надо... не надо.

И акушерка стала гладить его волосы своей рукой, всё ещё пахнувшей карболкой.

Эта простая ласка тронула его, и злоба опять схлынула, и осталось только одно сознание ужасного несчастья, обманутой любви, такой глубокой и гордой, сознание одино-

чества, которое всегда страшнее после утра-
ты.

Он, как сквозь сон, слышал её слова, стара-
ясь подавить рыдания, которые бились где-то
в груди, как прикованные цепью, и вдруг со-
рвались с этой цепи и потрясли всего до та-
кой степени, что трудно было стоять на ногах.

Он склонил голову и, рыдая, уткнулся пря-
мо в тёплую пухлую грудь акушерки. Та про-
должала гладить его волосы и, сама едва
удерживая слёзы, старалась утешить его про-
стыми, плохо связанными словами:

— Ну, полно... не надо, батенька... Что там!
То ли ещё бывает на свете. Ну, вы оба ещё мо-
лоды, а она так совсем пигалица. Ну, согреши-
ла. Так ведь и Христос велел простить греш-
ницу. А дитя-то чем же виновато? Ничего, пе-
реретерпится, перемелется, мука будет.

Но тут горечь, в которой уже было больше
отчаяния, чем злобы, закипела в нем снова:

— Ах, нет... нет!.. — переставая рыдать, вы-
крикнул он. — Ведь мука-то только тогда бы-
вает, когда зёрна бросают... хоть с сором, да
зёрна... А если камень под жёрнов бросить,
так только жёрнов разобьёшь, или песок по-

лучишь, а не муку... Не муку! Я теперь всё увидел... сразу увидел... всё сразу понял... Так обманывать! Так лгать!.. Это чудовищно! Чудовищно!

— Ну, не надо так... не надо!.. Что же ей оставалось делать?.. Ну, согрешила, обманула... ведь она ребёнок совсем. Её обманули, и ей пришлось обманывать. Вы, думаете, ей легко... Её тоже пожалуй надо...

— Да, пожалуй!.. Если бы это исправило её... Но разве что-нибудь может её исправить!.. Я не верю, не верю в это после всего, что мне открылось сейчас! Ах, ах!.. — ужасался он. — Чудовищно! Чудовищно!

— Поверьте, исправит... Ваше прощенье исправит её... Ведь берут же люди на воспитание детей... Ну, вот и вы вроде этого же как будто... Ну, не всё ли равно... возьмёте, и Господь наградит вас за это. Ведь сиротка... Отец умер у него...

— Умер? Это она вам сказала?

— Да, она.

— И опять ложь! Ложь! Я догадался теперь, кто отец! Лжёт она! Он у нас всего неделю тому назад был. Мне тогда показалось, я заме-

тил, но не поверил себе, осудил даже себя за это... А она продолжала с ним... продолжала, когда уже замуж за меня вышла... Гадость! Гадость! — с отвращением произносил он. — Послушайте... Нет, вы только послушайте!.. — с искажённым от страдания, недоумения и отвращения лицом торопился он рассказать ей всё, что с такой мрачной наготой открылось в несколько минут.

Он рассказывал сбивчиво, лихорадочно, но тем мучительнее, как жена обманывала его, и эти черты мешались с откровениями его любви и сообщали им ещё большую остроту.

Он только теперь понял, как надо, её желание принадлежать ему раньше, до брака, а тогда приписывал свои мысли собственной развращённости. Он не мог допустить не только подобной грязи, но даже тени, которая могла бы упасть на неё, — которую он любил, как святую! Он ожидал, когда мало-мальски обеспечит себя и свою будущую жизнь с ней уроками. Он не доедал, чтобы сколотить маленькие средства для покупки этой бедной обстановки...

Наконец настал счастливый день, и она

вошла к нему его женой и внесла с собою свет и счастье...

— Свет и счастье!.. — бормотал он почти с ужасом. — И вот, чем оказались этот свет... это счастье!

Потом, вдруг, с остановившимися глазами и помертвевшим лицом он заявил:

— Знаете что... я ухожу... я сейчас уйду отсюда куда глаза глядят... Я не хочу знать её, не хочу её видеть больше... Да, да!.. Я ухожу! Ухожу так, как вот есть! Мне ничего не надо! — и он заметался, ища свою шапку, шинель. Акушерка ухватила его за руку и обрушилась на него с негодованием и гневом:

— Как вам не стыдно! В вас нет жалости! Это бессердечно! Бесчеловечно! Вы страдаете... ну да! Я вижу... понимаю, но так бросить человека в грязь и в человека бросить грязью... Это недостойно вас, да, недостойно, батенька! Прежде всего нужно на себя взглянуть: у самого-то что за плечами! Вы, небось, и счёт потеряли женщинам, которых осквернили до брака без всякой любви, как животное, а тут строгость проявляете. Вы...

И тут она с страстной искренностью обру-

шила на него, казня в его лице всех мужчин, в тысячу раз делающих больше грехов, да что — грехов... грех — это последствие увлечения, а мужчины творят преступления потому, что холодно и сознательно делают свои мерзости.

Большая грудь её волновалась, глаза горели и на щеках выступили пятна от волнения.

Студент покорно слушал, склонив голову, а когда она кончила свою грозную речь:

— Ну, что же! Я не так говорю? Не так? Стыдно, верно, батенька.

Он поднял на неё глаза и застенчиво, точно стыдясь своего признания, ответил:

— Всё это так... Было бы так... так бывает... Но ведь я-то полюбил и узнал женщину в первый раз.

И это признание с таким отчаяньем вырвалось у него, что акушерка, ошеломлённая, часто-часто замигала глазами, точно увидела перед собой привидение.

Это был тоже своего рода феномен и, пожалуй, более редкий феномен, чем его жена.

Змеи

I

Громадный английский пароход «Britania», один из тех пароходов, самый вид которых возбуждает томительную жажду скитаний, уже двое суток как вышел из Коломбо в Порт-Саид, а затем — в Европу.

Среди пассажиров преобладали европейцы, но было и несколько китайцев с мутно-жёлтыми лицами и загадочными глазами; вездесущие японцы, два араба, столько же мулатов и один индус — старик, обращавший на себя особенное внимание своей величавой красотой и таким всепроникающим и глубоко-печальным выражением глаз, что в его присутствии не только личное счастье, но и всякая радость, кроме тех радостей, которые даются созерцанием и подвигами, казалась вульгарной и пошлой.

При нём мы безотчётно становились как-то серьёзнее, если не глубже. А между тем тут были люди, выдавшие виды; аристократиче-

ские бродяги и тёмные авантюристы, которые тысячами бросаются в тропические колонии с жадной страстью наживы и приключений, не останавливаясь перед преступлениями, за которые на родине их гибкая шея попала бы под гильотину.

Вероятно, этот старик, одетый в великолепные индийские ткани, был знатен и богат, как никто из его спутников. Правда, он не выказывал ничем своего превосходства, наоборот, был чрезвычайно сдержан и прост, хотя в его отношении ко всем не было того, что в обиходе называется любезностью.

Помимо этого старика внимание пассажиров останавливалось на одной паре: американец с дамой. Он был уже немолодой человек с бритым грубоватым и сильным лицом, с преждевременно поседевшими волосами и двумя резкими морщинами, которые расходились от носа вверх по упрямому, невысокому лбу, точно две острых стрелы.

Но интерес возбуждал не столько он, сколько его спутница: жена, любовница... да, скорее любовница, если не новобрачная, так как страсть, которой были охвачены они оба,

говорила о первой пламенной заре счастья.

Она была так молода, что казалась бы ребёнком, если бы не её красота, в которой чувствовалась гармоническая завершенность драгоценного цветка, распускающегося в столет раз. Эта красота была не только в её лице, глазах, улыбке, но и во всей её фигуре, такой лёгкой и нежной, что она, кажется, как цветок, должна была держаться корнями там, где стояла, чтобы её не унёс ветер. Все, что она делала, шло к ней, как пламя идёт к свече, или звук к натянутой струне. Этот счастливец, обладавший ею, должен был быть мучеником, обречённым в конце концов на нестерпимый ужас. Одна мысль, что такого сокровища можно лишиться, способна была кого угодно на его месте свести с ума. Верно, он был достоин её красоты своей гордостью или силой своего духа, иначе надо быть глупцом, чтобы соединить с ней свою судьбу.

Однако, пока что, он, очевидно, был победителем и держал себя так уверенно и ясно с ней, что им нельзя было не любоваться, и оттого совершенно немислимо было завидовать ему.

Одна только эта пара обращала на старика-индуса так же мало внимания, как и на всех других. А он? Он, минуя всех нас, часто обращал свои взгляды на них, и загадочная тоска светилась тогда в его глазах, где потонуло, верно, немало разбитых кораблей его сердца, надежд и мечтаний, которыми живёт одиночество, пока не придёт к великой мудрости, для которой всё конечное мгновенно и лживо, как те облака, что на закате окружают горизонт неопишным хороводом.

Касаясь прозрачно-зелёных вод своими дымными плащами, эти облака, подобно апокалиптическим образам, движутся в небе, пьяные от золотисто-багрового вина заката; сами багровые, оранжевые, жёлтые, розовые и лиловые... всех красок, огней и тонов, от слияния которых можно охмелеть самому. Какой-то безумный художник сотворил их и, меняя каждый миг очертания, буйно и почти грозно кладёт на них изменчивые краски с своей пылающей палитры. Не обращая ни на кого внимания, прижимаясь друг к другу, они следили за этими безумными изменениями облаков, как будто это фантастичное зрелище

предназначалось специально для забавы их двоих. Так же смотрели они и на звёзды, которые качались над ними подобно разноцветным брачным лампадам, и на волны, баюкавшие корабль, эту зыбкую и послушную колыбель их единственного счастья.

На пароходе, чтобы скрасить однообразие пути, предпринимались всевозможные развлечения, игры, даже целые концерты. Их всё это мало интересовало. Всю музыку мира они носили теперь в своих сердцах, и только одна стихия могла соперничать с голосами, певшими в них.

Среди всевозможных экзотических грузов, от аромата которых пароход казался цветущим плавучим островом, — был стеклянный ящик с змеями; их везли для британского музея.

Живые змеи всевозможных пород, чьё царство на Цейлоне. Страшные кобры, разновидностей которых так много там; их укус смертелен и быстр, как жало молнии, когда оно попадает прямо в сердце.

Среди этих змей особенно выделялась одна пара: змея синяя, как бирюза, и змея крас-

ная, как коралл.

Эти две змеи были помещены особо, так как требовали исключительного ухода и внимания. Две живых гибких смерти, столь поразительных по своей окраске. Две маленьких змейки, более коварных, чем даже измена, и более ядовитых, чем предательство.

Эти две змейки чаще всего лежали свернувшись за стеклом и напоминали одна коралловое, другая — бирюзовое ожерелья.

У большинства зрителей эти змейки за стеклом возбуждали злорадство: так приятно было чувствовать себя в безопасности вне этой прозрачной непроницаемой преграды. Приятно было даже подразнить их, водя по стеклу пальцем или концом палочки около глаз, и видеть, как змеи высовывают свои тонкие жала и скользят ими по стеклу, вздрагивая и корчась от бессилия и злобы.

Как всегда, плечом к плечу, влюблённые остановились около стеклянной темницы змей и молча любовались ими. Мимо проходил старый индус, и раньше иногда беседовавший с ними.

— Правда ли, — спросила его она, — что

змей укрощают музыкой и песнями те, кто знает тайну чарующих их мотивов?

— Да, — ответил он. — Разве вы не видели таких заклинателей змей, хотя бы в Коломбо?

Спутник её недоверчиво заметил:

— Но это, скорее всего, шарлатаны, морочащие публику. Кроме того, говорят, раньше они вырывают у змей их ядовитые зубы.

— Нет, поверьте мне, не все. Среди них есть такие, которые из рода в род воспринимают это искусство, так похожее на волшебство любви.

— Волшебство любви! — воскликнули оба. — Разве есть такое волшебство?

— А что же такое это чувство, если не волшебство — чаще всего, со стороны мужчины? Ведь любовь — это не что иное, как смертельная вражда, исконная вражда двух полов, но в этой вражде есть мгновения, когда победитель и побеждённый испытывают бесконечное блаженство: один — блаженство победы, другая — блаженство унижения. Чувство мужчины и женщины — два разные чувства, и чем противоположнее, тем острее и сильнее их слияние.

Она засмеялась и взглянула на своего возлюбленного.

— Мой победитель — что ты скажешь на это?

Он молчал.

Старик снисходительно улыбнулся. Он знал, что только глупцы поднимают голову во время победы; мудрый склоняет её даже с лукавым кротким смирением, чтобы боги не позавидовали его счастью.

— Итак, ты мой укротитель, а я твоя змейка, — продолжала она всё с той же весёлой улыбкой. — Бойся, я смертельно ужалю тебя, как только чарующая песня твоя умолкнет.

Старик ничего больше не сказали отошёл от них легко, как белый призрак.

На другой день под вечер по пароходу распространялась страшная весть: обе ядовитейшие змеи ускользнули из своего стеклянного плена.

Как это случилось, никто не знал. Сторожи их, раз в день открывавший стеклянный ящик сверху, клялся, что он аккуратно закрыл его вчера. Наконец, невероятно, чтобы они могли выпрыгнуть со дна ящика через стеклянную перегородку. Тем не менее его едва не растерзали поражённые ужасом и яростью пассажиры. Два жала смерти были на свободе, и каждое мгновение грозило гибелью любому из тех, что злорадствовали над змеями.

Не находилось уголка, где можно было бы чувствовать себя в безопасности, и почти все видели себя приговорёнными к смертной казни, которая должна была поразить тайно из-за любого угла, из любой щели. Океан представлялся громадной водяной могилой, а корабль — эшафотом, где в качестве палача выступала сама судьба.

С какую радостью все бросились бы на берег... Но ближайший берег отстоял не менее, чем в пяти сутках езды. Пять длительно-бесконечных дней и ночей — 43,200 секунд, почти столько же ударов сердца, из которых каждый удар мог оказаться последним.

Не только командир парохода, но и пассажиры с своей стороны назначили громаднейшие премии за убийство этих змей. Но матросы были такие же люди, у них также были дети, матери, жены, возлюбленные... наконец, — сердца, которые также привязывали их к жизни и заставляли дрожать за неё больше, чем на войне, больше, чем во время кораблекрушения, потому что тогда долг умерял их страх... Наконец, там была борьба. И вот люди с бледными лицами, с напряжённо ищущими глазами, как стадо, стали жаться в кучу, чтобы таким образом иметь тысячу глаз, тысячу рук и ног для обнаружения и казни скрывшихся куда-то врагов. Они перестали стесняться друг перед другом в своей трусости, готовые негодовать на тех, кто ещё сохранил самообладание или пытался сохранить его: ведь безумцы лишали их лишних

стерегущих глаз, лишних орудий поражения.

И в то самое время, как дикие крики то и дело заставляли всех вздрагивать от ужаса ожидания из-за простого кончика бечёвки, даже — тени, казавшейся одной из змеек, — только три человека явно не ощущали ни малейшего страха: это были двое влюблённых и старый индус.

Он следил за ними, когда они спокойно гуляли по палубам, радостно приветствуя летающих рыбок, которые, подобно сверкающим стрелкам, выскакивали из воды и летели по воздуху, пока не высохали их крылышки.

— Вы безумцы! — кричала им толпа. — Вы не имеете права так рисковать собою. — Они только смеялись в ответ на эти крики. Тогда изумлённый их беспечностью старик сказал:

— Если я не ищу спасения, вместе с тем и не дорожу своей жизнью, — это понятно. Я стар, я изжил свою жизнь, или, как говорят у вас в Европе, растратил давно свой капитал, а жить на проценты не в моей натуре. Но вы... вы, считающие любовь таким великим благом, как вы не дрожите каждый за свою жизнь?

— Моя жизнь в нём, — ответила она, ни минуты не задумываясь.

— А моя в ней.

— Но ведь вы оба смертны.

— Любовь сильнее смерти.

— Пусть, — сказал он, — дрожат за свою жизнь те, что не знают любви, подобной нашей. Они хватаются за жизнь потому, что ждут от неё чего-нибудь лучшего, чем то, что они пережили и переживают. Они, как лавочники, надеются нажать на товаре тем больше, чем меньше у них этого товара остаётся. Мы верим, что никто из нас не переживёт смерти другого, и радостно будет умереть обоим вместе, прикладывая к холодеющим губам свои губы, как печать бессмертия.

И они снова стали следить за перелётом рыбок, который в стремительном движении своём пронизывали зеленые упругие волны, и влага давала им новые силы летать трепеща прозрачными крылышками.

Старик отошёл побеждённый.

Он остановился на пустой палубе, глядя на эту пару счастливицев. Казалось, он новой мыслью измерял глубину своего прошлого,

глубину человеческого бытия, и взгляд его прояснел на одно мгновение, получил ту же силу полёта, как эти рыбки, пронзающие родную им стихию.

Но когда он перевёл глаза на объятую ужасом и смятением толпу, его лицо исказилось отвращением и презрением к ним.

Он колебался несколько мгновений, затем медленно пошёл куда-то и вернулся скоро с большой тарелкой молока. Поставив эту тарелку посреди опустелой палубы, он длительно и странно засвистел, и от этого свиста всем вдруг стало жутко до ледяного озноба.

Острая мысль поразила всех: не кто иной, как он выпустил змей. Для чего? Это была тайна, но у всех сразу явилась уверенность, настолько ясная, что они даже не сказали друг другу ни слова, а только обменялись взглядами, кричащим сильнее слов:

«Это сделал он! Он!»

Но никто не смел крикнуть этого ему; они боялись взглянуть на него, ожидая какого-то чуда от старика, похожего на пророка или на древнего мага.

И вдруг глаза всех остановились на змеях,

которые появились неизвестно откуда и, быть может, разбуженные свистом, похожим также на свист взбешённой змеи, медленно извиваясь, тянулись к чашке с молоком, изда- лека почуяв его.

Две змейки: красная, как коралл, и синяя, как бирюза.

Вот они приблизились к тарелке и, подняв свои острые головки, перекинули их через край её и замерли, с жадностью всасывая в себя молоко.

— Убить их! Убить! — раздался полный ужаса шёпот, но никто не решался сдвинуться с места.

Так прошло несколько острых, как иглы, и жгучих, как искры, — минут. Змеи могли удовлетворить свою жажду и ускользнуть.

Этот старый колдун не имел права допускать змей уползти.

Но он стоял в стороне, не двигаясь, глядя в ту сторону, где прогуливались влюблённые.

Наконец и они заметили эту картину. Тогда, весело сказав что-то друг другу, они по- шли по направлению к этим змеям.

В руках у них не было никакого оружия, но

страшно было крикнуть им, чтобы они захватили что-нибудь с собою, чтобы убить смертельных гадов: змеи могли встревожиться и уползти.

Ужас оковал всех, когда оба приблизились к змеям, начинавшим уже слегка обнаруживать беспокойство, и враз склонились к ним с протянутыми руками.

— Убить их! Убить! — вырвался зверский вопль у толпы, и трудно было сказать, относился он к змеям, или к тем, кто мог спугнуть змей.

Но в то же время, ловко захваченные у самой шеи пальцами, две змейки повисли в его и её руках; одна, как струя алой крови, другая, как синяя лента.

И с теми же весёлыми улыбками, глядя друг на друга, они понесли их обратно в стеклянный плен.

Старый индус провожал их посветлевшим взглядом.

ЧИНОВНИК

I

Он и раньше чувствовал некоторое недомогание, а в это серое мартовское утро проснулся совсем больным. От скудного сырого воздуха шторы, закрывавшие окна его спальни, казались ещё более тяжёлыми и отощавшими, несмотря на ограждавшая их двойные рамы. И даже обычное дребезжание уличной жизни, которое он привык не замечать в продолжение этих двадцати с лишним лет, сейчас тоже как-то сыро и назойливо касалось его. Особенно неприятен был редкий звон колокола с соседней военной церкви, напоминавший о чем-то неизбежном.

«Ну, вот, теперь пойдут так каждый день звонить! — подумал он с гримасой. — И как это я мог прежде любить великопостный звон!»

Донн... донн... донн...

Звуки уныло ударяли о стекла, как серые крылья дня, и глохли в занавесках.

Если бы не важный доклад министру, он в этот день, пожалуй, не пошёл бы на службу. Тело, и особенно голова, казалось, были налиты этой сырой томительной тяжестью утра, и в мягких, пухлых пальцах рук и ног что-то зудело и покалывало.

Перед кофе он проглотил новые пилюли, затем привычно оделся и поехал на службу.

Обыкновенно он отправлялся туда пешком; на этот раз приходилось экономить силы.

Колокольный звон, не переставая, посы­лал удар за ударом, покрывая уличный шум мягким, прозрачным трауром; звон уже шёл теперь от разных церквей и сливался в один поющий похоронный голос, тоже напоминавший о чем-то, почти забытом и близко-печальном.

II

Делая доклад министру, чиновник вспомнил этот звон, и вдруг ощутил такую слабость, что позволил себе опереться на ручку министерского кресла, чтоб не упасть.

— Что с вами, дорогой мой?

Он постарался овладеть собой и опустился в соседнее кресло, чувствуя, как этот звон бродит в нём приливающими и отливающими волнами.

— Вы побледнели, вы нездоровы?

Ему стало совестно этой слабости; но еле хватило сил успокоительно ответить:

— Ничего, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться — минутное недомогание.

Но министр внимательно и ласково коснулся его руки. Рука была влажная и холодная.

— Вы совсем нездоровы! Вам надо лечиться.

— Это, ваше превосходительство, пройдёт.

— Да, но нельзя игнорировать...

— Не извольте беспокоиться, лёгкое утом-

ление...

— С этим шутить нельзя, вы заработались, вам необходимо отдохнуть. Насколько помнится, вот уже два года вы не брали отпуска? Посоветовались бы с докторами.

— Ах, ваше превосходительство, разве можно в такое время думать об отпуске?

— Именно в такое время.

Министр мягко и убедительно продолжал ему внушать бархатистым голосом, что именно в такое время необходимо дорожить здоровьем людям, подобным ему, и в конце концов убедил его взять двухмесячный отпуск.

На этот раз Арефьев решил отправиться в деревню, даже не советуясь с докторами. Они, наверное, послали бы в какой-нибудь модный курорт, всегда напоминавший в конце концов петербургскую гостиную; а между тем его неудержимо тянуло в деревню.

Более двадцати лет он не заглядывал туда, несмотря на все увещания своей матушки, и то время, когда он был там, представлялось ему настолько далёким, что и себе он казался совсем другим человеком.

Но на вокзале вся эта странная затея вдруг показалась ему нелепой и дикой.

Серый и дождливый день, чадный воздух, артельщики, шпионы и пассажиры, наполнявшие вокзал, вызвали в нём чувство, похожее на ужас.

«Куда я еду? Зачем?» — спрашивал он себя.

И, если бы не стыд перед лакеем, хлопотавшим о том, как удобнее устроить барина в купе, он бы, наверное, вернулся домой.

Но стыд и слабость лишали его энергии.

Он механически распорядился послать те-

легграмму в родное гнездо и, совершенно обес-
силенный непривычными движениями и су-
етой, задыхаясь от усталости, расположился в
купе.

Перед глазами ещё мелькали обрывки по-
следних впечатлений: министр, сыщики, пас-
сажиры, канцелярии и вокзальный зал, а в
ушах дребезжал, покрываемый унылыми зву-
ками колокола, столичный шум.

Среди нелепых ключев жизни почему-то
особенно противно вспоминалась красная
фабричная труба, с чёрным клоком дыма, па-
давшим из неё в тяжёлую слякоть воздуха. И
хотелось поскорее уйти от этого куда-нибудь,
забыться.

Но когда поезд тронулся, ему, помимо
нездоровья, чувствовалось не по себе; точно
он изменял своему долгу. Однако, наперекор
всем этим чувствам, ласково и успокоительно
позванивало смутное сознание освобожде-
ния.

Полутёмный, грязный перрон уплывал с
серыми, вокзальными стенами, с серыми,
скучными людьми, которые как будто созда-
ли и этот серый липкий воздух, и похорон-

ный звон, и чёрный клочок дыма, развевавшийся как обрывок траурного знамени над промокшим и прогнившим городом.

От мелькания перед окном закружилась голова; но было приятно, когда кончились стены и пошли взрытые пустыри, с голыми, укоризненно торчавшими деревьями, с тёмными полосами лесов на горизонте, с грязными извивающимися по талому снегу дорогами.

Опять стукнул в голову вопрос: куда и зачем он едет? Но теперь этот вопрос уже не пугал, а что-то обещал впереди, и было почти приятно вытянуться на диване и отдаться во власть бессилия и покоя.

Он задремал, и когда очнулся, Петербург был далеко, и печальный весенний серый вечер глядел с пустых обнажённых полей глубоким, тусклым взглядом, как далёкое прошлое.

IV

Это была первая ночь, которую он провёл без неприятных пробуждений, беспокоивших его в Петербурге.

Проснулся он, однако, в обычный час, прислушался, и, вместо дребезжания столичного шума и церковного перезвона, услышал ровное постукивание поезда, в котором было что-то бодрящее и твёрдое.

Он поднял занавесочку вагонного стекла и с удовольствием заметил, что нет перед глазами вывески модного магазина с шляпами, который много лет так настойчиво-глупо и нагло лезли ему в глаза, как будто все людские головы предназначались специально для них.

День был также серый, но казался светлее от отсутствия каменных стен и шума, который там также как будто затемнял воздух. И деревья здесь не имели такого укоризненного вида, как около Петербурга. Крутятся перед глазами в лёгком, почти пьяном танце, они весело растопыривали веточки, ещё голые, но уже тревожно и чутко насторожившиеся.

На одной из станций он вышел на платформу.

Вокзал был большой и шумный, но имел совсем иной вид, чем петербургский вокзал, и люди тут были также несколько иные.

Вчерашнее утомление и слабость ещё давали себя знать, но во всём этом уже не было той тяжести и давящей пустоты, что угнетали вчера.

Это был обычный час его службы, и странно было, вместо министерства, где всё так однообразно и точно, видеть живую толпу, где все чужие друг другу, и всё же среди этих чужих людей чувствовалось больше внутренней связи, чем в холодной высокой казённой зале.

И когда вся эта толпа умчалась с поездом и осталось только несколько пассажиров, которым нужно было пересест в другой поезд, как и ему, он вздохнул с некоторой тоской, чего ни на минуту не ощущал, расставаясь со своими сослуживцами. Более того: отношение к сослуживцам не превышало того, что бывает у зрителя после театра марионеток, и это настолько его самого поразило, что, уже

севши в новый поезд, он осуждал себя за свою непонятную ересь. Если бы не нездоровье, всё ещё дававшее себя знать, чиновник даже не отдавал бы Петербургу, вероятно, и этой дани, но оно связывало его с служебной обстановкой.

Поезд, в которой он пересел, был небольшой, шёл по новой дороге и часто останавливался. И станции, на которых он останавливался, были также новые, и приятно было выходить перед ними на платформу и даже есть борщ, которого не осмеливался бы попробовать в Петербурге.

Случайные разговоры с попутчиками были также далеки от петербургских; говорили не о «входящих» и «исходящих», не о запросах и нуждах министерства, и даже не о политике, а о земле и хлебе, и, по-видимому, большинству этих людей не было никакого дела ни до его министерства, ни до его политики, и жили они маленькими интересами, однако же исходившими от них, как исходили пары из земли, на которой они жили.

Поезд мчался к югу, и с каждой станцией навстречу шло что-то глубоко-ясное, нежное и волнующее воспоминаниями и надеждами, давно забытыми.

На одной из маленьких станций он в первый раз увидел грачей.

Они кружились над голыми деревьями и отчаянно кричали, как будто негодуя, что здесь не всё ещё готово к их прибытию, что деревья ещё голы, а в низинах залегают потемневшие, точно закоптелые, пласты снега.

В прежнее время, когда Арефьев был студентом, здесь приходилось ехать не по железной дороге, а на лошадях, и ему вспоминался этот длинный путь от станции до родного гнёзда, и это были воспоминания из другого мира, из другой жизни.

В полдень поезд остановился у станций Вязово, и, когда Арефьев вышел из вагона, его ослепил яркий солнечный блеск и охватил тёплый влажный воздух; закружилась голова. Ноги задрожали и глаза заволокло туманом, похожим на тот белый душистый пар,

который поднимался от земли.

От слабости он опустился на скамейку около станции и на минуту закрыл глаза.

Но как эта слабость была непохожа на то, что он испытал в кабинете министра! Закрыв глаза, он с удовольствием отдавался ей, как ласке, в то время, как скворцы трещали вокруг него на деревьях с таким оживлением, точно школьники, вырвавшиеся на волю.

Арефьев глубоко вздохнул, открыл глаза, и, к удивлению своему, заметил, что глаза были влажны. Слабость быстро проходила, и, казалось, он с головой выкупался в свежей, лёгкой воде.

Когда снова пришлось сесть в вагон, он уже досадовал на его железные стены и на маленькое окно, о которое разбивались солнечные лучи.

Но утомление требовало сна, и он уснул, забыв об опасении, возбуждённом в нём станционным борщом и громадными, как подошвы, так называемыми, пожарскими котлетами.

Проснулся под вечер, когда закат кротко сиял вдалеке и весь воздух замер в этом розо-

вом сиянии; воздушно реяли даль и леса, и большая ветряная мельница на бугре, тяжело шевелившая крыльями, точно колдующая среди этих дымящихся паром полей, где и деревни и церкви кажутся как будто выросшими из земли, вечно родными ей.

Ещё две-три станции, и он на месте. Он был единственный пассажир, покидавший поезд, и сразу догадался, приближаясь к платформе, что эта тройка, позванивавшая бубенчиками в сером свежем сумраке вечера — для него.

Едва он ступил из вагона, как радостный всхлипывающий голос встретил его:

— Серёженька, милый!

И маленькая сухая фигурка, в старомодном салопе, всегда несколько конфузившем его в Петербурге, прижалась к нему, и он почувствовал слабые объятия старческих рук и прикосновение к своей бороде, щекам тонких материнских губ.

Непривычно взволнованный, он долго не мог овладеть собой.

— Ну, зачем ты сама, ночью... по такой дороге?..

Но она радостно останавливала его:

— Что ты, что ты, Серёженька! Разве я могла не встретить?.. Столько лет!..

Она всхлипнула, и он сам едва удержался, чтобы не расплакаться.

— Да, да, столько лет!..

Он старался рассмотреть морщинистое лицо матери, такое родное, и всегда новое, особенно близкое в эту минуту. Он как будто не видел её все эти двадцать лет, и та старушка, что приезжала в Петербург, была не она, а её двойник, который несколько стеснял его и являлся в петербургской жизни каким-то не идущим к ней живым пятном.

Теперь, когда он сидел с ней рядом, в новой, специально для него купленной, коляске, досадно было, что эта коляска не та, в которой когда-то он делал около сотни вёрст домой от той далёкой станции.

Обняв мать, он с волнением слушал её голос, странно сливавшийся с перезвоном бубенчиков.

Вот, бубенчики были те, и он слушал их, пожалуй, с тою же нежностью, как и материнский голос, — те же были звёзды и та же

тишина. Звёзды, звёзды... Как это странно — он не помнил за эти двадцать с лишним лет, чтобы хоть раз обратил внимание на звёзды. И эти звёзды тоже, как будто, имели свой голос, тоже родной, ласковый, который звучал около него.

Если бы не некоторая усталость, ощущавшаяся после дороги, чиновник мог бы забыть совсем о минувших двадцати годах и о министерстве. Он слушал мать, не вникая в её слова, отвечая ей кивками головы, улыбкой, в то время, как душа его одевалась тихой грустью этой ночи, нежностью воспоминаний, светивших как звёзды. Приятно было чувствовать около себя мать и ночной весенний холодок, от которого отвердела дорога и остекленели лужи, значительно и весело трещащие ледком под колёсами и под копытами лошадей.

И минутами казалось, что он маленький мальчик и что вся его служебная деятельность, целый огромный период жизни — сон, случайно прочитанная бумага с казёнными печатями, прошитая крепкими нитками.

Он засмеялся от радости, когда очутился

около родного дома и услышал собачий лай, и взошёл на подновлённое крыльцо, где, несмотря на поздний час, с хлебом-солью встретили его люди.

Как низки стали потолки, как сжались стены! С горькой печалью он оглядывал старую мебель, часы, зеркало, и теперь ему жутко было взглянуть на него и встретить одутловатое, вялое лицо с безжизненными бакенбардами. Войдя в детскую комнату, где всё осталось так, как было, когда он покинул её в последний раз, не выдержал и должен был от-вернуться к окну, выходявшему в сад, и долго барабанил по стеклу, на котором, бывало, зимой мороз выписывал такие чудесные узоры.

VI

Странно и ново было ему проснуться утром дома.

Да, да, именно это было дома! И самый воздух был такой, какой должен быть дома, а не в петербургской квартире, которая, несмотря на весь холостяцкий комфорт, всё же представляла собой что-то вроде гостиницы, случайное, временное помещение — не больше. А здесь пахло наливками, старыми деревянными стенами и приятной свежестью, напоминающей запах весенней рощи.

Взглядывая каждое утро в окно, он видел сад, старый сад, где меж стволами деревьев, среди жёлтой измятой прошлогодней травы, пробивалась молодая зелень и почки на деревьях набухли, и весенние птицы хлопотали, свистели, радуясь весне. В первое время он опьянел от воздуха, от сытных деревенских кушаний, которыми закармливала его мать. По настоянию её, он сделал необходимые визиты в новой коляске соседям, а затем пошли день за днём легко, спокойно и вкусно с ленивой улыбкой, жившей здесь, как будто, в са-

мой природе.

Ещё сначала были минуты усталости и покалывания, и недомогания, но уже через неделю он стал совсем здоров и даже не удивлялся этому чуду: так оно и должно было быть само собой.

Перед глазами его с каждым днём всё нежнее оживала земля и сад, и томительно-сладко было видеть, вместо исписанных бумаг, могучие вспаханные поля, а вместо однообразных чёрных букв — лопающиеся почки.

Впереди предстояло целых два месяца такого покоя и безделья; но как-то так выходило, что весь день был заполнен простыми, свежими впечатлениями.

Шестой... восьмой... десятый...

VII

Приблизительно на двенадцатый день, как-то проснувшись, чиновник ощутил лёгкий укол совести, похожий на укор.

Правда, он не обманывал министра, когда сделалось дурно при докладе; но, ведь, теперь-то он здоров, совершенно здоров! За него работают там другие, но он знал себе цену, и ясно было, что другие не могут вполне заменить его. Во время прогулок по полям, где в первые дни он ни разу не вспомнил о министерстве, — теперь нет-нет, да и вспомнились ему деловые бумаги, и как-то ночью даже приснилось, что он входит с весьма важным докладом к министру, и тот покровительственно пожимает ему руку и говорит, что без них двоих едва ли не погибла бы Россия.

Если бы не наступающая Пасха, он уехал бы тотчас, но тут приходилось повременить, чтобы не слишком огорчать мать. Зато на второй день Пасхи он решительно объявил ей, что уезжает.

— Господи, да как же это так? Ведь, и меся-

да не прошло!..

Но он был непреклонен. Слово «долг» так внушительно и строго звучало из его уст, что представлялось его матери каменной стеной, через которую её протянутые руки не могли достать и удержать сына.

VIII

В пасхальное солнечное утро, посвежевший, здоровый, Арефьев снова садился в вагон. Несмотря на все его протесты, мать заставила половину купе банками с вареньем и всякими домашними печеньями и гостинцами.

Солнце, птицы и тёплый ветер, пахнущий ожившей землёй и нежностью ещё непробужденных цветов, провожали его необыкновенно приветливо, но чиновник почти не замечал их: перед его глазами внушительно и строго вставали «входящие» и «исходящие», и министерская палата звала его, как мир, с которым он больше свыкся, чем с свободой широких воскресших полей.

Он даже не пожалел о матери, провожавшей сына с постоянной мыслью, что, может быть, видит его в последний раз. Едва ли он

даже заметил, через несколько часов пути, когда вышел на одной из станций, что тут как будто уже не так тепло, как дома, и как будто меньше птиц, и не так ласково обвеваает ветер.

Вероятно, этому мешало лёгкое утомление после прощания с матерью и после всей этой неизбежной суеты перед отъездом. Опять стучали колеса вагона, но в этом стуке не было уже прежнего бодрого возбуждения — это был сухой, деловой стук, и даже ясно было слышно, как он выговаривал: «Долг, долг, долг, долг».

«Да, да, долг прежде всего».

«Прежде всего, прежде всего...» — стучали колеса.

И под этот стук сами собой закрывались глаза, и в смутной полудремоте казалось, что это стучит хорошо налаженная министерская машина, в которой он сам вертится, как одно из важных колёс.

Чиновник задремал с приятным сознанием этой важности и, когда проснулся, был обеденный час, и он снова поел борща, но борщ, однако, на этот раз показался не таким

ВКУСНЫМ.

На пересадочной станции одна из банок с вареньем разбилась, и боясь дальнейших неприятностей и возни с этими гостинцами, он с удовольствием оставил их, как последнее вещественное напоминание о родном гнезде, и перебрался в новый поезд с прежним багажом.

Вместе с ним, он, как будто, оставил ещё что-то, какую-то частичку самого себя, и оставил навсегда.

Сердце кольнуло чувство, похожее на сожаление, — но что могло оно значить перед сознанием исполняемого долга! Чиновник мысленно махнул на него рукой и даже не без удовольствия заметил в несколько новой обстановке поезда и в людях что-то неуловимо приближавшее его к Петербургу, в чём ощущалась им даже некоторая нравственная опора.

С этой приятной мыслью он заснул, но проснулся среди ночи от странного сна: «входящие» и «исходящие» бумаги стояли перед ним целым лесом и как-то насмешливо кланялись ему, а иные из них прямо делали

оскорбительные гримасы. Это до такой степени его взволновало, что он затопал на них ногами и накричал начальническим тоном, но это не только их не усмирило, но, наоборот, они подняли невероятный визг и топот, наступая на него с дикими прыжками, с криками: «Долг, долг прежде всего, прежде всего»!

Чиновник проснулся; стучали колеса вагона, но и в стуже на этот раз ему слышалась насмешка сна. Конечно, он тотчас же объяснил себе это неприятное сновидение тяжестью в желудке от съеденного борща. И в голове была лёгкая муть, которая мешала заснуть ему снова. Чуть ли не в первый раз после выезда из Петербурга он вспомнил о новых модных пилюлях, которые так покорно глотал прежде, и с трудом разыскал их в чемодане, куда на всякий случай их уложила его матушка.

Утром, на полпути от Петербурга, чиновник уже ощутил и лёгкое покалывание в пальцах. Это было, конечно, вполне объяснимо: серенький денёк даже сквозь окна дышал сыростью и, как будто, понятия не имел о том лёгком, ярком солнце, что обогрело и ободри-

ло его на юге.

От земли здесь также шёл пар, но это был не тот лёгкий, душистый пар, как там, и чем дальше, тем тяжелее и сырее становился воздух, серее и глуше замыкались дали.

Пилюль не хватило, да они и не помогали ему; разумеется, они потеряли свою свежесть и силу. В аптечках на станциях ничего подобного достать было нельзя, и чиновник ещё более убеждался, насколько необходимо его присутствие там, откуда порядок должен расходиться по всей стране.

В Петербург он должен был приехать к ночи; но уже с самого начала этого дня он испытывал всё усиливающееся недомогание, которое раздражало его и повергало в недоумение. Он винил в этом нездоровье те лёгкие неприятности и неурядицы, которых не замечал, когда ехал из Петербурга.

Теперь они раздражали его и порою вызывали гнев. На одной из станций потребовалась даже жалобная книга. Ради неё пришлось выйти из вагона, но это был уже последний его выход.

Серое, закоптелое небо, скучные, грязные

деревья без признака зелени, — всё это, как будто, не только ожило за истёкшие дни, а, наоборот, ещё более помертвело и насупилось.

Он замкнулся в купе, чтобы не видеть ни этой природы, ни людей, как будто тащивших за собой всю эту муть, сырость и убожество.

Перед окном, вместо широких полей, стояли колкие стены хвои, ржавых и заплесневелых, как люди, вышедшие из болота, дышавшего издали знакомым петербургским дыханием.

Он вытягивался на диване, подкладывал под себя подушки, чтобы отдохнуть, но тело наливалось этой мутной сыростью и во рту ощущался такой вкус, точно он съел кусок этой мути.

Теперь уже нечего было думать о том, чтобы управиться самому с вещами и прикатить к себе домой, на удивление лакея, молодцом. Он послал телеграмму, чтобы его встретили, и с болезненной тоской ждал прибытия на место.

«Это всё от дороги и от скверной еды, —

успокаивал себя чиновник. — Вот, приеду, отдохну, и министр завтра не узнает меня: таким молодцом явлюсь я перед ним. Воображаю, как он будет удивлён! Ваше превосходительство! — скажу я ему на это. — Есть обстоятельства, высшие, чем заботы о личном покое и здоровье. Это — долг. Долг прежде всего».

«Долг, долг, долг, прежде всего, прежде всего», — стучали колеса, и в этом стуке была та же самая тяжесть и сырость, от которой трудно было дышать.

«Сиверская... Гатчина... Через час Петербург».

В полном изнеможении он глядел на стекло, всё мокрое, с грязными потёками, точно заплёванное этим гнилым, ядовитым днём. Даже в Гатчине он не вышел из вагона, так как шёл дождь, — не тот весёлый, радостный дождь, как было на юге. Здесь с неба падала какая-то грязь, точно бесконечные пьяные слёзы.

На платформе, освещённой электричеством, подобно мертвецам, шевелились люди, артельщики, и опять шпионы, с безраз-

личными лицами и шмыгающими глазами.

На петербургской станции встретил его лакей, и пришлось опереться на его здоровую руку, чтобы дойти до кареты.

Это здоровье почти оскорбило его, и особенно было неприятно, когда лакей сказал:

— А я думал, что вы поправитесь, ваше превосходительство.

IX

На другое утро чиновник через силу поднялся с постели, и ему показалось, что он не уезжал совсем из этой квартиры и что впереди у него такая же слякоть и приближение к той палате, в которой нет ни «входящих», ни «исходящих».

То состояние, в котором он был дома, представлялось ему даже не сном, а как будто картинкой, которую он видел где-то, — может быть, в детстве, на крышке нянькиного сундука.

Однако он превозмог себя, надел вицмундир и решил пешком отправиться в департамент.

Но на этот раз чиновнику не удалось пере-

ступить порога не только министерского кабинета, но и своей собственной квартиры: ноги у него задрожали как только он взял в руки портфель, точно из этого портфеля в его тело ударил расслабляющий ток.

— Гри...ри...горий!.. — еле промямлил он и опустился на руки лакея.

Коллега

I

Степанов затрепетал от волнения, прочитав в газете сообщение, что в гостинице «Париж» остановился проездом знаменитый писатель Агишев.

Степанов сам мечтал о писательской славе, на что имел полное основание. По крайней мере его поддерживал в этом убеждении ближайший друг и любитель литературы Кругликов. И у самого претендента были на это некоторые фактические данные: не говоря о рассказе, напечатанном в местной газете, он имел в своём портфеле дюжины полторы оконченных и неоконченных произведений, заслуживших одобрение не только Кругликова и прочих друзей и приятелей обоего пола, — это не штука, — у него было письмо от самого известного критика Силачева, заведовавшего толстым журналом «Вперёд». Силачев хотя и не принял его рассказа, но отметил достоинства, помянул о небольшом, но «соб-

ственном» стакане, из которого пьёт автор, и благословлял автора «на трудный путь, тернистый путь... сеять разумное, доброе, вечное».

Степанов облил слезами радости это письмо и с тех пор вот уже целый год, не расставаясь с ним ни днём, ни ночью.

Письмо это знали наизусть не только он сам и его близкие, но и чуть ли не весь город: оно было напечатано в местной газете, да и сам автор освежал его в памяти забывчивых непрерывным чтением.

От продолжительного злоупотребления письмо, конечно, скоро утратило свою первоначальную свежесть и даже цельность, но каждая буква его продолжала служить автору залогом бессмертия.

В высшей степени ободрённый им, он успел за этот год написать целую трагедию в пяти действиях и семи картинах, где под маской исторического сюжета обрисовал все язвы и раны современного строя.

Представлялся благоприятный случай не только получить компетентный отзыв об этой пьесе, но и дать ей настоящий ход.

Не тратя времени, Степанов побежал к Кругликову посоветоваться насчёт этого важного события.

Кругликов был потрясён не меньше своего друга. Прежде всего у него явилась благодарная мысль чувствовать известного писателя с соответствующей помпой. Но вспомнив, как в прошлом году осрамился на подобном торжестве издатель местной газеты, громко величая в своей речи одного из ветеранов русской литературы ветеринаром русской литературы. Кругликов махнул рукой на помпу.

Встретив задыхающегося от волнения товарища, он вмиг загорелся его мечтой, и друзья бросились друг другу в объятия, как Дон Карлос и маркиз Поза. Но друг писателя, как человек более зрелый и положительный, решил выработать сначала строгий план, а затем, уже действовать.

— Тут, брат, нельзя пренебрегать мелочами, важно произвести благоприятное впечатление. Талант талантом, но прежде всего нужно вызвать доверие к себе. Ведь это, брат, не кто-нибудь, а, можно сказать, генерал от литературы. Тут нельзя так... очертя голову

действовать, нужно взвесить всё.

— Да что же тут взвешивать?

— Как что! Да вот, например, твоя наружность...

— Что ж моя наружность? Кажется, моя наружность...

— Экий ты, братец, обидчивый. Дело не в том, что ты имеешь успех у барышень: барышни это одно, а знаменитый писатель другое. Нашим барышням твои длинные волосы нравятся, а ему навряд ли понравятся. Я, брат, видел его портрет: у него волосы-то ёжиком острижены. Это, брат, прежде писатели длинные волосы носили, а теперь другая мода.

— Что ж, волосы, можно, пожалуй, остричь...

— Непременно остриги: лоб больше казаться будет.

Писатель посмотрел в зеркало и поднял со лба волосы.

— Гм. Пожалуй, это верно.

— Уж чего же верней. Вот тоже рубашка. Непременно, братец, надо крахмальный воротник. И непременно, как у него отложной-стоячий. Это я тебе свой дам, воротничок

и рубашку.

— Широко будет.

— Широко — не беда. Вот если узко — скверно: точно изюм в прянике. Галстук тоже надо будет поаккуратней. Вот жалко — бархатного пиджака у тебя нет... Теперь, брат, как я читал, всякий писатель и художник норовит бархатный пиджак себе сделать.

— Ну, это дорого. Когда-нибудь потом разве.

— Гм. Потом. Зачем же откладывать. Можно по случаю какую-нибудь женскую юбку купить бархатную. Впрочем, оно, пожалуй, и лучше, что нет сейчас. Сюртук для такого визита приличнее. А в пиджаке, хотя и в бархатном, за амикошонство может счесть.

— Да у меня и сюртука нет.

— Жалко, что мой тебе чересчур велик. Ну, да это не беда: у меня тут певчий есть, приятель, знаешь, Оглоушев; с него как раз сюртук по твоим фасонам будет.

Он осмотрел писателя деловым взглядом.

— Ну, остальное касательно внешности, кажется, всё в порядке. Вот брюки у тебя на коленках очень того... вытянуты, точно ты ар-

хиерейский служба, а не писатель. Ну, да это сойдёт. Теперь другое: есть ли у тебя визитная карточка?

— Ну что там, какая там визитная карточка. Зачем ещё?

— То есть, как же это зачем? Надо же ему знать, с кем он имеет дело.

— Я отрекомендоваться могу: писатель Иван Иванович Степанов.

— Так, так. А почему же он будет знать, что ты не самозванец? Ещё за шпика, пожалуй, примет. Может быть, так: ты возьмёшь мою карточку, а Степанов, скажешь, твой псевдоним.

— Нет, я от своего имени отрекаться не намерен. Волосы остригу и воротник твой одену, и сюртук певчего, а уж своё имя — извини.

— Ну, ну, хорошо, хорошо. Экий ты, братец, недотыкомка. И так обойдёмся. Можно автограф дать. На картоне возьмёшь и напишешь автограф. Это, пожалуй, даже ещё лучше будет. Автограф и подпись под трагедией. Вне сомнений.

— Ну, это ты уж слишком. Что он Нат Пин-

кертон, что ли?

— На всякий случай не мешает. Трагедия с тобой?

— Со мной.

— И рассказы с тобой?

— Со мной.

— И письмо Силачева с тобой?

— Со мной.

Кругликов выпрямился, торжественно по-дошёл к писателю, положил ему обе руки на плечи и с раздувающимися ноздрями дрожащим от волнения голосом произнёс:

— Ну, братец, в путь. Видимо, сама судьба послала сюда Агишева. Я чувствую, что звезда твоя восходит. Он, наверное, будет потрясён твоей трагедией. Определит её на сцену... А уж там, брат, поприще широко: знай работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь! — не совсем кстати, но с большим чувством продекламировал он, и оба приятеля, растроганные, заключили друг друга в объятия.

После того, как парикмахер обработал голову писателя, тот чуть-чуть не зарыдал, увидя себя без пышного украшения, припадённого в жертву новой столичной моде. Ещё рука его делала машинальные движения, как бы откидывая назад густые пряди, но эти движения были жалки и беспомощны, как движения куриных крыльев.

Сам Кругликов втайне пожалел о своей опрометчивой настойчивости, вспомнив, что, кроме Агишева, было много других столичных писателей с длинными волосами. Лоб, действительно, казался больше, но зато вся голова до такой степени потеряла в объёме, что напоминала одуванчик после того, как на него сильно дунут. Впечатление от этой головки получалось очень жалкое, особенно, когда Степанов провалился в своей собственной шапке.

Терзали угрызения совести, и чтобы загладить их, Кругликов пожертвовал лучшим своим воротником. Но и воротник был безмерно велик. А от певческого сюртука так несло ла-

даном, что, казалось, он таил в себе тридцать тысяч панихид.

Но этим не исчерпывались заботы: главное было впереди. Предстояло выработать весь церемониал визита — все, начиная от первого поклона и кончая приветствием, с которым молодой писатель должен обратиться к своему собрату.

— Ну вот, хорошо. Ты подаёшь свою карточку, и там говорят: проси.

Писатель побледнел от одного этого представления, и так вобрал в себя воздуху как будто собирался лететь.

Кругликов неодобрительно покачал головой.

— Экий ты, братец, чудак! Вытянулся во фронт, как солдат. Будь поразвязнее. Ведь он хоть и генерал от литературы, а всё-таки, как-никак, вы коллеги. Ещё, может быть, ты превзойдёшь его.

— Ну, уж ты скажешь!

— И скажу. Но дело не в том. Самое лучшее, по-моему, принять такую позу: правую ногу выставить, а левую за спину; лёгкий поклон... таким манером он протягивает тебе

руку... Ты не вздумай ему первый руку протянуть. Это, брат, по чину не полагается. «Здравствуйте, коллега, прошу вас садиться».

Кругликов так вошёл в свою роль, что опустился в кресло и сделал покровительственный жест, совсем ему несвойственный. Но так как приятель его после первого вступления не подавал никаких признаков жизни, он опять вернулся к настоящему:

— Ну, что же ты, братец, онемел, точно рыба. Нельзя же так. Он подумает, что ты пришёл к нему на бедность просить.

Писатель возопил, оробев:

— Да, хорошо тебе разговаривать! Если бы ты был в моем положении, тогда бы понял меня. У меня при одной мысли во рту пересыхает и в горле спазмы делаются. А тут ещё остригся... голова кажется такой лёгкой, как будто её и нет совсем. Я, кажется, не пойду.

— Да ты с ума сошёл! — закричал на него товарищ. — Человеку так фортунит, что стоит только сказать: «Сезам, отворись...» — а он труса празднует. Ну, нет, брат, я силой тебя поволоку, если так. Я тебя по рукам и по ногам свяжу, а доставлю куда надо.

— Ну, ну, чего ты кричишь, хорошо, я пойду. Только дай мне... выпить чего-нибудь.

— Вот это идея. Хвати-ка, брат, для храбрости рюмку водки. И глотку промочишь, и кураж подынешь таким манером. Да и для вдохновения недурно. *In vino veritas*, как говорили греки.

— Боюсь, пахнуть будет. Подумает, я — алкоголик.

— Это не беда. Все настоящие таланты пьют. Скажешь, Толстой не пьёт, так ведь Толстой, брат, гений. Да и неизвестно ещё. Может быть, если бы он пил, так ещё лучше писал бы.

— Нет, это неловко.

— А, что там! В крайнем случае кофейных зёрен погрызть, весь запах отобьёт.

Водка появилась, и Кругликов решился до конца делить с своим другом писательскую чашу.

Выпили по одной, закусили огурчиками и опять возобновили репетицию.

Кругликов ещё лучше изображал знаменитого писателя, что повергло начинающего в ещё больший трепет.

Для куража понадобилась ещё одна, за ней другая... третья...

Когда первый графинчик подходил к концу, первая сцена вплоть до вступительной речи была отделана на славу. Но для речи понадобилось послать за вином. Надо было не ударить лицом в грязь и выразить с блеском волнующие чувства — какое, мол, счастье лично видеть великого писателя земли русской и прочее и прочее...

— Главное — не стесняться, — всё настойчивее поощрял друга Кругликов. — Что ты, в самом деле, подчинённый что ли его.

— Да, нет, я стесняться теперь не буду. Не мальчишка я, в самом деле. И стричься, собственно говоря, не надо было.

— Н-да, пожалуй, действительно можно было и не стричься. Да, так теперь вот насчёт речи. Собственно, по мне, все эти поклоны да расшаркивания — всё это можно было бы послать к чёрту.

— Само-собой, к чёрту! Что я балерина, что ли, чтобы разные позы принимать.

— Верно. Но речь — это другое дело. Речь необходима. Хоть вы и коллеги, а всё-таки,

братец, ты младший, а он старший.

— Что ж, я от речи не отказываюсь. Речь, действительно, необходима. Выпьем для вдохновения.

Выпили.

— Речь необходима, — продолжал писатель, — только, конечно, не какая-нибудь такая... официально-пространная, — не без труда выговорил он.

— Ну, разумеется. Что за китайские церемонии. По-моему прямо: «Коллега! Рад приветствовать вас в нашем богоспасаемом граде...»

— К чёрту, богоспасаемый град! Что мы, архимандриты, что ли! Просто: коллега, рад приветствовать.

Вино снова забулькало из бутылок в стаканы, из стаканов в глотки.

— Видишь, я тебе говорил *in vino Veritas*, — так оно и оказалось. Теперь всё ясно и просто, как и что надо делать. Выпьем ещё для полировки пива, и айда.

Вылили пива. И после первых же глотков задача ещё более упростилась.

— По-моему, собственно, и никакой такой

приветственной речи не нужно совсем, — заявил Кругликов. — Нечего тебе унижаться перед ним. Нужно сразу стать на товарищескую ногу. Он обязан сделать для тебя всё в силу долга перед литературой и родиной. Ты прямо ему это и скажи.

— Прямо и скажу.

— Сначала протяни ему руку, посмотри ему этак прямо в глаза. Этаким все прони... фу, чёрт!.. этаким... икающим взглядом, и прямо скажи... Выпьем.

— Прямо так и скажу. Взгляну вот так... и скажу...

Опять выпили.

Политура была наведена в достаточной степени. Четырехсложных слов в разговоре приятели избегали, зато вообще в словах не было недостатка, и если бы кому-нибудь из них, действительно, пришлось сказать самую пространную речь, ни тот, ни другой не почувствовали бы ни малейшего затруднения.

Но речь была обоими отвергнута окончательно. Решено было ограничиться простым внушением, что знаменитый писатель обязан помочь своему начинающему коллеге, кото-

рый, может быть, далеко превосходит его своим талантом.

— Будущее это покажет, — убеждённо говорил Кругликов. — По-моему, в твоей трагедии есть прямо Шекспировские штрихи. По-моему, ты сам себе ещё не знаешь цены.

— Это верно. Однако же я чувствую этакий размах... полёт вдохновения.

— Пойдём выпьем ещё по рюмке коньяку за твой талант, и баста.

Зашли в ресторан, выпили коньяку по одной... другой... третьей рюмке, и тогда уже смело двинулись к знаменитому писателю.

Не беда, что стало уже темно: со своим братом-коллегой нечего церемониться.

— Да и не велика птица, — заявил около самой двери Степанов. — Не Лев Толстой. Ну, талант, скажем, что ж из того. Я сам талант.

— Ты так ему и скажи.

— Так и скажу. И никаких карточек... Никаких автографов.

— Стой, я с тобой пойду, — решительно заявил Кругликов. — В случае чего, я тебя в обиду не дам.

Осведомившись у лакея, в каком номере остановился знаменитый писатель Агишев, друзья двинулись к нему по лестнице, поддерживая друг друга.

Лакей пробовал было остановить их, доложить, но они гордо отвергли, заявив себя коллегами.

Побеждённый этим непонятным для него словом, лакей уступил, однако успел забежать вперёд их, и приятели вошли как раз, когда слуга выходил из номера.

— Что вам угодно? — встретил их знаменитый писатель, стоя у порога комнаты.

— Что угодно? — скривив губы, ответил Кругликов. — Прежде, чем спрашивать, нужно пригласить из передней к себе.

— Пожалуйста.

— То-то, пожалуйста. Не воображайте, что мы какие-нибудь просители.

— Да, — подхватил начинающей автор, — пожалуйста не воображайте ничего такого. Перед вами коллега... которому сам Силачев писал...

Он одним духом выпалил всё письмо Силачева, и даже, чтобы не оставаться голословным, достал это самое письмо из кармана и сунул его писателю:

— Вот... Не угодно ли-с. Не хотите удостовериться. Ну и наплевать. Не очень нужно. И на письмо мне это наплевать... Вот. — Он разорвал письмо и швырнул его к ногам хозяйна. — Я стою выше этого. Экая важность какая... Проездом через здешний город. Точно фокусник какой. Ни шагу без реклам. Этак с рекламой всякий может стать знаменитостью. А ты вот попробуй без рекламы, да без протекции... Вот отсюда... из этой трущобы провинциальной... от слезящегося окошечка, около которого приходится писать, потому что на керосин денег нет... А ещё талант неизвестно у кого больше. Вы думаете, я у вас протекции пришёл просить? Как бы не так... К чёрту и протекции и вас с ней вместе. А то карточки... автограф! Я думал коллега, а тут просто свинья-свиньёй... Зазнался очень. Пойдём, брат, нам здесь нечего делать.

Взяв Кругликова под руку, он так круто повернулся, что едва не упал, и гордо вышел.

Ночевали в участке.

Было какое-то буйство... битъё стёкол... полицейский протокол.

Певческий сюртук оказался разорванным и совершенно лишённым рукавов. Но всё это было ничто для приятелей и особенно для начинающего автора — перед воспоминанием о визите к знаменитому писателю. Даже утрата трагедии вместе с карманом сюртука неизвестно где во время дебоша не вызвала такого потрясения писательского сердца, как рассказ лакея об их поведении у знаменитого гостя.

Начинающий автор хотел застрелить своего товарища, ввергшего его хотя и невольно в эту бездну ужаса. Хотел застрелиться сам, но по случаю военного положения в городе нельзя было достать оружия.

Любовь

I

Ехать *туда* было ещё рано, и потому решили отправиться в цирк.

Бой-китаец, в длинном белом одеянии, с маленькой змеиной головкой и чёрной туго заплетённой косой, вытянувшейся на плоской спине, бесшумно скользнул к столу и подал счёт.

На открытую веранду ресторана знойно дышала и глядела большими тоскующими звёздами тропическая ночь. Громадные, поражающие непривычный глаз деревья казались черны, как смола, и оттого звёзды мерцали из-за них особенно раздражающе — ярко и так близко, что их можно было смешать с маленькими фонариками рикш, лёгкие колясочки которых сновали в темноте. Бесперывный смутный и волнующий шорох океана, приливая сюда издали, мягко покрывал ночные голоса громадного таинственного города и, может быть, оттого сновавшие во мраке

среди смоляных стволов фигуры в белых одеждах казались призрачными.

Большая тёмная бабочка ударилась о круглый электрический фонарь над столом и упала прямо в стакан с недопитым красным вином, в котором, как рубин, мерцала огненная точка.

— И ей в эту ночь хочется опьянения, — заметил чувствительный доктор, разомлевший от ночи и вина. Страстный любитель стихов, он всегда безбожно перевирал их, и тут не обошлось без этого.

*Коль нет любви, давай вина.
Я выпью мой бокал до капли.*

— До дна! — поправил его старший механик Гринчуков, красавец, с цыганским лицом и такой же натурой.

— Да, да, верно, — до дна!

Доктор осторожно извлёк из стакана бражника и посадил на протянувшуюся к веранде ветку баобаба.

— Довольно! Едем в цирк!

Но и сингапурский цирк скоро разочаровал их. Почти все то же, что и в европейских

цирках. Разве только интереснее номера с змеями и дикими зверями. Моряки купили целую охапку бананов и сахарного тростника и забавлялись тем, что кормили в цирке слонов.

Но и это надоело.

От пряного, влажно-тёплого воздуха ночи, от молодости и вина в крови поднимался томительный зной, туманил мозг и сушил глаза, которые инстинктивно вспыхивали при встрече с женскими глазами. Даже аккуратный мичман Крейцер, всегда использовавший до конца удовольствие, за которое платил деньги, согласился уехать из цирка задолго до конца представления.

Но в Малай-Стрит он рискнул поехать не сразу. Всем было отлично известно, что у Крейцера в Петербурге невеста и что он женится на ней, как только получит чин лейтенанта. Поэтому он стеснялся ехать в Малай-Стрит и нерешительно протестовал:

— Я на корабль. Мне нельзя. Я должен написать ответ, потому что нынче получил...

— Ну, да, знаем, вилок капусты, — с хохотом dokonчил за него Гринчуков, и все также

засмеялись.

В каждом порту Крейцер получал от невесты письма, в которых с моральной, философской и практической точки зрения обсуждалась любовь. Письма на четырём, пяти, шести листках, и такие же письма он посылал ей. Обилие этих листков и дало повод Гринчукову обратиться однажды к товарищам с загадкой:

— Тысяча одежек и все без застёжек — угадайте, что это значит.

— Капуста.

— Нет, письма Крейцера к своей невесте, или от неё.

— Поедем. Поедем, — тянули Крейцера товарищи.

— Нечего кобениться.

Гринчуков солидно добавил:

— Это тебе полезно, немчура, ибо уяснит любовь паче всяких философских размышлений.

*Любви все возрасты покорны.
Её порывы плодоносны —*

опять, перевирая, вставил стихи доктор.

— Это профанация любви, — убеждённо и строго возразил немец.

Все так и покатались со смеху. Но механик снова произнёс так же серьёзно:

— Нет, брат, не профанация. Я покажу тебе такую любовь, какая ни одному немцу и во сне не снилась.

Тогда, делая вид, что едет только из любопытства, Крейцер также взял рикшу и пустился с компанией в Малай-Стрит.

II

Тёмные улицы... Белое здание отеля с колоннами, похожее на открытый дворец, всё ярко освещённое огнями, где чёрные фраки мужчин и белые платья дам мерцают чувственными намёками... Затем опять темнота, и наконец новый, страшный и соблазнительный, почти сказочный и отвратительно земной — Малай-Стрит.

Ещё издали раздражающей загадкой тянут к себе из мрака бесчисленные огни разноцветных фонарей. Огни вытянулись узорными сверкающими лентами по обе стороны улицы и в конце её как будто связываются в

огненный узел.

Множество других маленьких огней, как светящиеся жуки, летят туда со всех сторон и сливаются там в один золотой рой, откуда идёт переливное гудение, как из колоссально-го невиданного улья.

Иль это гул океана, гул стихии, который доносится сюда и качает сотни, тысячи бумажных фонарей, всевозможных видов и форм, около домов, в домах и над домами, где бунтует ещё более дикая стихия.

По обе стороны улицы, в два ряда, выстроились женщины, разукрашенные, как фантастичные куклы, в яркие цветные костюмы, с необыкновенными причёсками. Две гирлянды живых цветов, живых ядовитых орхидей. Они колышутся в раздражённом огнями сумраке, как бы танцуя, взмахивают руками и манят, и зовут:

— Come in... Come in... Come in...

И этот призыв сотен голосов сливается в отравляющее журчанье, в которое вплетаются звуки самсунов, пей-тузов, пан-тузов и других музыкальных инструментов. Тысячи звуков, которые ведёт за собою морской гул, в

чёрную бездонную пропасть.

— Come in... Come in...

Кольшутся бумажные, сделанные в виде бабочек, цветов, рыб и птиц фонари, кольшутся занавески на окнах и, как чёрные жуки, в открытые сияющие огнями двери бросаются люди всех стран, всех возрастов.

Это японский квартал.

Кто устоял здесь, не должен ехать дальше. Направо, налево — те же огни, те же женщины, белые, чёрные, жёлтые, и все ярко и пёстро наряженные, все с размалёванными лицами, с жадными зовущими глазами.

Китайский, малайский, индусский, европейский кварталы. Это целый город, — город, где живут одни женщины и куда ездят одни мужчины. Целый сад ядовитых цветов и смертельных змей. Мир погибших и нерожденных душ.

Кладбище неживших — Малай-Стрит.

III

Крейцер уже третий раз совершал этот рейс, но в Малай-Стрит попал впервые. Он был настолько поражён необыкновенным зрелищем, что растерялся и даже струсил чего-то. Ему казалось, что этой улице, фантастичным женщинам и причудливым фонарям не будет конца. Он готов был вздохнуть облегчённо, когда передовой рикша с Гринчуковым повернул налево.

Но тут был китайский квартал и ещё более красочный, огненный и кошмарно-притягивающий, так что немец ахнул от неожиданности.

Его двуногая лошадь, малаец, с одним поясом вокруг бёдер, остановился и обернулся назад. На шоколадной блестящей коже отражался свет качающихся фонарей, от которого блеснули и его ровные белые зубы.

У Крейцера на одно мгновение явилась мысль повернуть назад и ускользнуть от товарищей на корабль. Вместо этого он замахал на рикшу руками и приказал ему бежать вперёд.

«Посмотрим, о какой любви они смеют говорить здесь», — сказал он себе, в оправдание перед своей невестой.

Но это было не то. Он уже почти чувствовал себя в плену ярких огней, женщин, голосов и музыки... И, казалось, им конца не будет, как будто он попал в заколдованное царство хмельного, соблазнительного разврата, и куда бы ни повернул, всюду встретит манящие глаза и открытые объятия.

Гринчуков ехал впереди, и Крейцер уж теперь боялся потерять его из глаз. Ещё один поворот, фонарик рикши, и красная точка сигары механика остановились около освещённого дома. Гринчуков громко возвестил:

— Здесь!

Крейцер торопливо выскочил из колясочки, и вся компания, неестественно возбуждённо переговариваясь, направилась за высокой, сильной фигурой Гринчукова.

Дверь была настежь открыта, и навстречу им, как звенящая струя, изливался весёлый переливчатый женский смех.

Почти гигантского роста китаец белым изваянием стоял у дверей и, при появлении го-

стей, издал крик, похожий на крик дикой птицы. В ту же минуту к гостям выкатилась необыкновенно подвижная, ещё не старая дама с радушно улыбающимся лицом и приветствовала их, как давно знакомых и жданных.

Гринчуков ответил ей также по-английски, и та весело закивала головой.

Из общей залы продолжали доноситься смех, голоса, которые вдруг переплёл сверкающим узором страстный мотив кекуока.

Но они не стали заходить в общую залу, а прошли в кабинет, куда тотчас же явились женщины.

Это был дорогой американский дом, и с малознакомыми гостями женщины на первых порах вели себя не только сдержанно, но и чопорно, и одеты они были в бальные, декорированные платья, совсем почти как леди в белом отеле с колоннами, мимо которого проехали моряки.

— Шампанского! Много шампанского!.. — приказал Гринчуков. — И — мисс Мэри! Надеюсь, она...

Но круглая дама не дала ему договорить.
— О, мисс Мэри сейчас будет здесь.

IV

До прихода мисс Мэри, несмотря на шампанское и на желание быть развязными и весёлыми, чувствовалось какое-то стеснение и неловкость. Может быть потому, что из моряков Гринчуков только один совершенно свободно говорил по-английски. Доктор почти не знал ни одного звука ни на каком иностранном языке, а Крейцер, хотя понимал английский язык, предпочёл бы говорить по-немецки или по-французски.

Впрочем, ему совсем не хотелось вступать в беседу с этими дамами, да он и не знал, какой взять тон.

Обе были красивы, молоды, и совсем не похожи на то, что ему случалось видеть раньше, хотя бы в Петербурге или Кронштадте.

И вдруг, тот самый смех, который они слышали на лестнице, ворвался в кабинет, а вслед за ним влетела молоденькая девушка, лет двадцати, в белом лёгком хитоне, под которым мягко переливались линии её поразительно стройного тела.

В комнате сразу точно все расцвело: ярче

вспыхнули огни; веселее засмеялось шампанское и как-то мгновенно спала чопорность с двух её подруг.

С разбега она бросилась на шею Гринчукова; он быстро закружился вместе с ней, так что от её развевающегося хитона пошёл ветер.

Наконец она взвизгнула и повалилась на диван в полном изнеможении.

Гринчуков поднёс к её большому страстному рту шампанское, и она, не поднимаясь, выпила его, проливая струйки на круглый подбородок и высокую нежную шею.

Начался кутёж.

Крейцер охмелел после первого же бокала шампанского, но, когда доктор лукаво спросил его, какую из трёх он наметил для своего счастья, немец нахмурился и отрицательно замотал пальцем.

Доктор рассмеялся, шепнул что-то Гринчукову, тот взглянул на Крейцера и также захотел.

Крейцер решил быть на страже. Он вызывающе обратился к Гринчукову:

— Вы эту любовь хотели показать мне?

— А, любовь! — отозвался тот, — и обратился к мисс Мэри, сидевшей у него на коленях, с несколькими вопросительными словами, которых Крейцер не разобрал.

Та утвердительно кивнула головой, захлопала в ладоши и бросила два слова маленькому бою-китайцу, моментально проскользнувшему в кабинет.

Китаец исчез — и в то время, как Гринчуков шептал что-то мисс Мэри, указывая чёрными глазами на Крейцера, в дверях появилась красивая фигура джентльмена в белом костюме с китайским веером в руке, которым он неторопливо помахивал перед своим лицом.

Лицо было бритое, по-видимому совсем молодое, необыкновенной красоты и благородства: лицо Адониса, раненого насмерть диким вепрем, мертвенно бледное, с большими, глубоко запавшими печальными глазами.

Эти глаза остановились на мисс Мэри, и только потом он изящно и с достоинством поклонился присутствующим.

— Мистер Смиф, — звонко назвала его имя

мисс Мэри. — Наш доктор, — она весело рас- смеялась и докончила с грациозным же- стом, — и музыкант. Мистер Смиф нам будет играть, а мы танцевать и петь.

И одним прыжком она очутилась около Крейцера, обвила его шею тонкими обнажён- ными руками, с которых соскользнули лёгкие шёлковые рукава и, прижимаясь к нему, за- лилась смехом, который, казалось, был так же обнажён как и её руки, и раздражал и опьянял своим, почти осязаемым, прикосно- вением.

Мистер Смиф опустил тёмные длинный ресницы, подошёл к пианино, бросил на него веер, и из-под тонких удивительно изящных пальцев его вырвались беснующиеся, сладо- страстно дрожащие звуки кекуока.

Да, это была действительно потрясающая история. Гринчуков рассказал её товарищам в нескольких словах. История любви, которая могла вспыхнуть смертельным огнём только под этими раздражающими звёздами, в пряном тропическом воздухе в стране колоссальных деревьев и мгновенно убивающих своим ядом змей, в кварталах безумно развратного Малай-Стрита, этого ослепительного и пьяного ада, в котором красота, порок и смерть кружатся в исступлённом танце.

В кабинете было душно, несмотря на то, что окна были закрыты только лёгкими занавесками, колеблемыми ветерком с моря. Но и этот ветерок не приносил прохлады; он как будто также был пьян и полон мутных желаний. Только холодное шампанское на мгновение приносило освежающую бодрость, и в эти минуты хотелось каких-то огненных снов наяву, ослепительной наготы и зверских ласк.

Англичанин медленно пил шампанское, и его бледное лицо становилось ещё бледнее,

но глаза разгорались, как две траурных свечи.

Эти глаза умоляюще обратились к мисс Мэри — и он сказал ей:

— Я хочу слез. Если мне не суждена нынче твоя любовь, я хочу слез.

Она взглянула на него долгим, печальным взглядом, сделала повелительный знак молчать и, когда он снова коснулся клавиш, она запела ирландскую песню:

*You'll wander far and wide, dear, but
you, come back again;*

*You'll come back to your father, and
your mother, in the glen...*

*(Ты едешь далеко, милый, но ты
вернёшься назад,*

*Ты вернёшься к родному очагу, к
твоему отцу и матери)*

Она пела грустно и негромко народную песню, которую, может быть, пела своему сыну мать, отправляя его в далёкое плавание, после того, как он только-что получил звание доктора и был назначен на военный корабль.

В Сингапуре его увлекли товарищи в Малай-Стрит, вот в этот самый дом. Он встретил

здесь мисс Мэри и остался навсегда.

*You'll hear the birds singing beneath
a brighter sky...*

You'll be comin' back, my darling.

*(Ты услышишь пение птиц под
благословенным небом...)*

Но ты вернёшься назад, дорогой)

Неправда. Он не вернётся назад. Старики будут лежать в могиле, а он не вернётся назад. Прошли всего два года с тех пор, как он остался здесь, но судьба его уже решена: он никогда не вернётся назад.

Крейцер похолодел, узнав всю эту историю. Он стукнул кулаком о стол и решительно заявил Гринчукову, что с ним никогда ничего подобного не случится. Во-первых, потому, что он может полюбить только добродетельную девушку, а, во-вторых, если бы и случилось что-нибудь подобное, он вырвал бы её отсюда, а не остался бы сам здесь на унижение и гибель.

Гринчуков сдвинул свои чёрные брови и перевёл всё, что тот сказал, мисс Мэри.

И опять та рассмеялась звонким, весёлым смехом: нет, только смерть или старость мо-

гут вырвать её отсюда. Но она сумеет броситься к смерти прежде чем наступит старость, — есть яд, который убивает в одно мгновение. А пока — безумная птица, она любит песни, поцелуи и вино.

Англичанин встал, медленно выцедил бокал шампанского, сделал повелительный жест рукою и, не опуская её, некоторое время стоял неподвижно с лицом мраморной статуи Адониса.

— Слушайте, он будет декламировать стихи, — сказала мисс Мэри, лукаво улыбнувшись Гринчукову, села на колени к Крейцеру и прижалась к нему всем своим горячим нежным телом.

Глуховатым, срывающимся голосом, не сводя глаз с своей возлюбленной, англичанин декламировал мрачную легенду о невольнике, полюбившем королеву и осмелившемся открыть ей свою любовь. Она приковала его к подножью своего ложа и каждую ночь на глазах его отдавалась другому, а он видел их иступлённые ласки, слышал их знойные стоны, заглушаемые поцелуями.

И когда мистер Смиф кончил декламиро-

вать, маленькая погибшая женщина звонко рассмеялась и впила своими красными губами, — губами страстного вампира, в розовые пухлые губы Крейцера.

Крейцер видел, как её несчастный возлюбленный смотрел из угла скорбными, полными слез глазами. Зубы его были плотно сжаты, он делал громадные усилия, чтобы не разрыдаться, и казался беспомощным, как мальчик, затерявшийся вдали от дома.

Гринчуков подошёл к нему и поднёс к его губам шампанское.

Тот машинально выпил и обратился к нему с несколькими вопросительными словами.

— Чтобы я сделал? — отозвался Гринчуков. И его цыганское лицо побледнело. — Если бы я любил, как и вы, я бы сделал то же самое. Зато вот этот немец, он наверное не сделает этого, — громко и презрительно кинул он по адресу Крейцера. — Он напишет тысячу томов о любви, но никогда не поймёт, что такое настоящая любовь.

Стукнули бокалы: они выпили их до дна и крепко поцеловались.

Доктор, совсем охмелевший, стоял перед облюбованной им женщиной в позе трагического актёра на коленях и читал ей русские стихи, по обыкновению невероятно перевирая размер и рифмы.

VI

Крейцер чувствовал, что он всё больше и больше пьянеет и размякает, но всё ещё продолжал твёрдо держаться за своё стойкое чувство к невесте. Окончательно расчувствовавшись, он достал из кармана бумажник, вынул оттуда её портрет и, что-то долго объясняя на невероятном английском языке сидевшей у него на коленях американке, торжественно протянул ей фотографию.

Та равнодушно повертела её в руках перед своими глазами и вдруг с звонким смехом швырнула в окно.

Картон всколыхнул занавеску и упал на улицу.

Крейцер сначала был поражён до такой степени, что не мог вымолвить ни слова. Он весь побледнел и задрожал от бешенства.

Мисс Мэри стояла перед ним вытянувшись

и вызывающе подняв свою белокурую красивую голову.

Крейцер уже сделал к ней угрожающее движение со сжатым кулаком. Она не шевельнулась, но англичанин впился глазами в немца и быстро опустил руку в карман.

Гринчуков заметил это движение и тихо коснулся его руки.

Но уже Крейцер овладел собой. Тяжело переводя дыхание, он презрительно скривил губы и, сразу отрезвев, ни на кого не глядя, вышел из кабинета.

Мисс Мэри бросилась к окну, взглянула вниз и опять весело рассмеялась.

— Что бы вы сделали на его месте? — обратился в свою очередь Гринчуков к англичанину.

— Я бы прежде всего, не показывал этой карточки.

— Я тоже.

VII

Прошёл год. Крейцер с невестой по-прежнему посылали друг другу обширные послания, в которых любовь обсуждалась со всех точек зрения.

На стоянке в Сингапуре Гринчуков и доктор опять соблазняли его отправиться с ними в Малай-Стрит, но он наотрез отказался, и они пустились туда вдвоём.

Блуждая на закате один по городу, он попал на европейское кладбище и здесь случайно натолкнулся на новый памятник, с которого взглянуло на него знакомое имя.

— Мистер Смиф, — повторил он. — Двадцати пяти лет.

И сразу вспомнил красавца-юношу из Малай-Стрита.

Конечно, это могло быть совпадение, но на белом камне были золотом выгравированы строки ирландской песни.

*You'll hear the birds singing beneath
brighter sky.*

Крейцер прочёл их и поморщился. Ему

вспомнилась вся эта неприятная история с фотографией. По счастью, тогда он успел поднять карточку своей невесты раньше, чем на неё наступили чьи-нибудь грязные ноги.

Он вздохнул о судьбе так ужасно погибшего молодого человека из хорошей фамилии, нелепо разбившего свою карьеру и жизнь, и не мог не осудить его:

— Из-за какой-то негодной девчонки. Фи! А она, конечно, продолжает свою безумную жизнь и мало думает о сгубленном ею сердце.

Но на другой день доктор и Гринчуков рассказали ему о мрачной судьбе обоих любовников.

Когда мистер Смиф, как доктор, узнал однажды, что его возлюбленная заболела той страшной болезнью, которая рано или поздно настигает почти всех жриц Малай-Стрита, он не открыл ей этого. Но в ту же ночь, на заре, их нашли окоченевшими в объятиях друг друга, убитыми мгновенно поражающим ядом.

СТИХИ

Кто, как не поэт, мог рассказать, что больше всего пленяет женщин? Ум, красота, мужество, храбрость, сила, самоотверженность, — всё это в конце концов ничто перед стихами.

Так по крайней мере казалось мне когда-то, и я высказал с убеждением эти мысли своему старому другу-поэту:

— Стихи — вот чары, перед которыми едва ли устоит любое женское сердце! — не без зависти говорил я. — Стихи, в которых музыка соединяется с словом, стихи, исходящие из сердца поэта, как пламя из недр земли. Ведь, внушение любви — своего рода колдовство. А какое же колдовство может сравниться с этим!

Поэт терпеливо и молча слушал меня, курил и печально улыбался.

Тогда я напомнил ему все сказки о могуществе поэзии, начиная от сказок о песнях Ориона, на которые дельфины выплывали из морской глубины и приближались к певцу. Наконец, как мне казалось, очень кстати и удачно

я привёл старую легенду: если стрелок омочит стрелу своею собственной кровью, он даже с закрытыми глазами попадает в цель. Поэт подобен такому стрелку: его стрелы — слова рождаются прямо в сердце, кипящем кровью, и потому всем кажутся вновь рождёнными.

Поэт поблагодарил меня за эти искренние речи, в которых зависти, однако, было меньше, чем молодого восторга, и рассказал мне в ответ печальную и забавную историю.

* * *

В первый раз, как это ни странно, я полюбил уже на закате молодости.

О, конечно, у меня были и раньше увлечения, но они не в счёт. Любовь только тогда имеет настоящее значение для нас, когда ранит, если не смертельно, то глубоко. Впрочем, вероятно, это зависит даже не столько от силы нашей любви, сколько от нашего возраста. Может быть, любовь в конце концов нечто вроде кори, переносимой очень легко в детстве и очень опасной в зрелых летах.

Мой приятель, молодой художник, влюблявшийся всякий раз, как тому представлялся

случай, вставил при этом своей весёлой скороговоркой:

— Разница только та, что корью болеют однажды в жизни.

— По-моему, любовью тоже, — ответил поэт. — Впрочем, говорят, каждая последняя любовь всегда кажется первой. А так как любовь, которой я переболел в последний раз, была лет двадцать тому назад, и больше я не переживал ничего подобного, — мне представляется, что эта любовь была у меня единственной. Я не стану вам называть или описывать женщину, которую я так любил, тем более, что она жива до сих пор. Пусть каждый из вас представит ту, которая для него прекраснее и достойнее всех: такую была для меня она.

Мы стали слушать ещё внимательнее.

— Она имела множество поклонников. Среди них были интереснейшие люди и добрая половина готова была ради неё пожертвовать если не жизнью, то во всяком случае своей свободой. Я, пожалуй, согласен был в крайнем случае отдать то и другое. Она это видела, может быть, даже чувствовала и потому

несколько отличала меня от других.

Я на мгновение прервал его:

— Не вернее ли будет приписать это предпочтение могуществу ваших стихов?

— Да, может быть... отчасти... Стихи мои... м... да... Я понял нечто вроде этого, но много позже, — ответил он. — Стихи мои как будто несколько роднили меня с той печалью, которая составляла главную силу её очарования.

Он остановил на мне пристальный взгляд:

— Я вижу по вашим глазам, что вы вспомнили стихи, посвящённые ей, одной ей... Да, целая книга стихов... — он иронически значительно улыбнулся. — Сотни стрел, омоченных моею кровью.

— И неужели ни одна из них не проникла настолько глубоко в её сердце, чтобы это сердце стало вашей добычей?

Он загадочно развёл руками, и его седые брови шевельнулись как бы от печально улыбающегося недоумения.

Папироса в откинутой поперёк кресла руке пускала вверх лёгкую струйку синего дыма, извивавшегося так же причудливо, как воспоминание в его памяти.

— Слушайте, — сказал поэт. — Меня волновала и мучила эта таинственная печаль, которая одна на мой взгляд являлась неодолимой прозрачной преградой нашего сближения: что-то вроде тончайшего стекла, которое было невидимо, но почти осязаемо мною. Я страдал. По временам мне казалось, что, если я узнаю происхождение её печали, я в состоянии буду разбить стеклянный гроб, который не хотело или не могло покинуть её сердце. И вот я всеми силами стал добиваться этого.

Он машинально потянул папиросу и, даже не заметив, что она погасла, продолжал:

— Надо было внушить ей полное доверие к себе...

— Но стихи! Чёрт возьми! Разве ей было мало стихов, ваших стихов, которые заставляют мужчин проливать слёзы?

Это была правда.

Поэт только пожал плечами.

— Стихов, очевидно, было мало, чтобы она поверила мне.

— Чего же она могла ещё требовать?

— Смерти! — без колебаний ответил он. — Стихи любви моей должны были пройти не

только через мою кровь, но и через смерть, чтобы она поверила и отдалась им.

— Ну, это слишком!

— И, однако, я убедился, что это было так.

— Вы убедились?!

— По счастью, мы видим вас живым.

Но он остановил нас и продолжал уже без всякой улыбки:

— Я был близок к отчаянию и, может быть, к самоубийству. Она заметила это, и всё это, вместе с моими последними стихами к ней, которые звучали как рыдание мольбы, — вызвало в ней то, что она могла дать мне — сожаление дружбы.

Мы переглянулись. Мы были внутренне возмущены, и он понял причину нашего возмущения.

— Вы, может быть, думаете, что она была недостаточно тонка, чтобы понимать поэзию. Вы ошибаетесь. Я не встречал до сих пор среди женщин существа с таким развитым вкусом, как у ней. Но суть не в том. И того, что она могла дать мне, было слишком много для неё; прибавлю, — не всякая женщина на это способна.

Подумайте.

Чтобы предотвратить катастрофу, она скорее согласилась отказаться от моей любви, от моего поклонения, так долго освещавшего её ореол красивой и интересной женщины, чем видеть меня мёртвым. Она не могла не знать, что, осторожно погасив мою последнюю надежду, она спасёт мою жизнь, но навсегда потеряет мою любовь, и всё же решилась на это.

— Ну, я нахожу это тоже опасной операцией! — воскликнул красивый, но мрачный инженер, боявшийся любви как огня и впоследствии застрелившийся-таки от неоправданной страсти.

Но поэт мягко возразил ему:

— Это справедливо в девяносто девяти случаях из ста, но, здесь я должен повториться, — она была настолько чутка, что могла решиться на эту операцию без особого страха. Наконец, кто знает, может быть, она бессознательно предчувствовала, что тайно для обоих нас здесь выдался особенно благоприятный случай.

— Непонятно.

— О, ещё бы! Но скоро вы поймёте...

В один сентябрьский вечер, когда долго крепившаяся природа вдруг как будто вскрывает жилы, обливая пурпурной кровью деревья, траву и заревые облака, — мы были вдвоём на её даче, и это последнее торжество умирания отзывалось в моей душе созвучным эхом.

Мы молчали, наблюдая, как гаснет последний отблеск зари в небе и с тихими вздохами падают на аллею жёлтые листья.

Тогда, точно поняв всё, что происходит в моей душе, она тихо протянула мне руку и сказала голосом, от которого задрожало сердце:

— Друг мой, я долго колебалась прежде, чем принести вам эту жертву, но, мне кажется, вы заслужили её, вы один из всех...

Она взглянула мне прямо в глаза и в тех трогательных выражениях, сила которых больше в тоне, чем в словах, больше в движении губ и в переливах глаз, чем в их сущности, искренно объяснила мне то, что я уже сказал вам: что испытывает женщина, теряя достойнейшего поклонника с слабой надеждой сохранить его как друга.

Я почувствовал лёгкий трепет её пальцев, прекрасных, как рифмы тех стихов, что слышатся только во сне.

Она продолжала:

— Поверьте мне, это нелегко, но я должна сказать вам...

Её рука подняла красный лист клёна, медленно опускавшийся на землю, и, щуря на него свои глаза, менявшие цвет, как морская вода, она с трудом произнесла:

— Я никогда никого не в состоянии буду полюбить... Никого больше, — повторила она после небольшой паузы. — Хотя вы ближе мне, чем кто бы то ни было.

У меня вырвался ревнивый крик:

— Вы любите другого!..

Но она обезоружила меня двумя словами:

— Он умер.

Я не сразу нашёлся пробормотать:

— Какое же заклятие он наложил на вас, что даже по смерти вы остаётесь верной ему?

Но она опять остановила меня несколькими словами:

— Любовь, к сожалению или нет, не знаю, — любовь не умирает вместе с люби-

мым. Особенно, если эта любовь началась после его смерти

При этом она подняла на меня глаза.

— Заклятие, — сказали вы, — да это действительно закливание, пред которым однако вы первый должны преклониться.

Я не мог сдержать своей горечи, но она не дала мне сказать ни слова.

— Именно благодаря этому заклятию, я особенно не могу полюбить вас... Да, особенно вас! — закончила она с ударением.

Я ничего не понимал.

— Но что же, наконец, это за заклятие?

Тогда она просто ответила:

— Стихи.

Вероятно, моё изумление было слишком ярко, потому что она поспешила объяснить:

— Разве вас это так поражает? Я удивляюсь. Вам, поэту, больше, чем кому бы то ни было, должно быть известно магическое действие стихов.

Я воскликнул с настоящим отчаянием:

— Нет, нет, увы, я больше не верю этому!

— И, однако, вы должны поверить, — произнесла она с ударением. — Поверить и по-

читать во мне это чувство, как самую святую дань тому, что для вас является религией.

Я молчал, но в глубине души у меня было завистливое чувство к этому сопернику, который оказался вдвойне счастливее меня.

Она усадила меня на скамейку и рассказала историю, которая оказалась поучительнее для познания женщины, чем весь мой долгий опыт.

— Я была моложе и красивее, чем теперь, и я не была печальна.

— Значит, вы были не так прекрасны! — протестовал я.

— Пусть так. Этим я обязана ему.

— Этому гениальному поэту?

— Да, гениальному поэту! — повторила она мои слова, вырвавшиеся с худо-скрытой злобой. Я едва не испортил ими всё, но она отомстила мне за них только несколькими словами:

— Вы не должны так относиться к этому: во-первых, потому, что он умер, во-вторых, потому, что стихи эти, может быть, единственные, написанные им мне. Лебедь поёт только перед смертью, и песнь его неизъяс-

нимо сильна. Это была лебединая песня его.

Мне стало стыдно моего низкого чувства, но не завидовать ему я не мог.

— О, если бы я мог создать такую песню!

— Нет, нет, для этого, верно, надо было...

— Умереть? — вырвалось у меня.

— Нет! Нет! — торопливо dokonчила она. — Я хотела сказать — надо было создать только одни такие стихи, только одни, чтобы в них вылилась вся душа... Да, да... Эти стихи внезапно, как молния, осветили мне всю его душу и мою душу, всю силу любви его, которая не могла больше оставаться неразделённой.

— Эти стихи пришли к вам после его смерти?

— Да. Я узнала о том, что он покончил с собой в тот же день вечером. Это, конечно, не могло не поразить меня, так как я считала себя отчасти виновной в его смерти. Но это не могло ещё меня заставить полюбить его. Его стихи совершили это чудо.

Я стал умолять её прочесть мне эти стихи. Конечно, она должна была знать их наизусть.

Да, она их знала, но отказалась мне читать

их сама, и я понял её.

— Я вам, одному вам, вверяю эту тайну. Я одному вам дам прочесть их, — согласилась она. — Как бриллиант, вкраплённый в чугунное кольцо, траурный символ бессмертной любви, стихи эти светят неотразимой любовью.

* * *

Вечером, когда мы расходились по нашим покоям, она подала мне конверт в траурной рамке с вложенным в конверт листком бумаги.

Я сразу узнал таким образом печальное имя этого несчастного юноши, смерть которого несколько лет тому назад являлась для всех такую трагическою загадкой.

— Завтра вы вернёте мне этот листок, — сказала она, протягивая мне руку на прощанье.

Я в нетерпении бросился к себе в комнату, чтобы там наконец постичь тайну того могущественного творчества, до которого мне не суждено было возвыситься.

Руками, которые так дрожали, как будто открывали покров Изиды, я извлёк это пись-

мо из конверта и впился глазами в его строки.

— И что же? Что же? — нетерпеливо перебили его мы. — Действительно, это были гениальные стихи?

Он не сразу ответил нам.

— Я готов был подумать, что помешался от своей любви. Наконец, — что я сплю... брежу... Нет — я здоров. Это не бред... Я ещё раз взглянул на ровные строки, написанные чужой рукой. Нет, это была правда!

И, глядя нам поочерёдно в глаза, он закончил такими простыми и такими страшными словами свой рассказ:

— Стихи были мои, мои собственные стихи, написанные ещё в юности, почти забытые мною стихи, от которых я не прочь был отказаться.

* * *

Этот неожиданный конец ошеломил нас до того, что мы некоторое время не могли произнести ни звука.

Вдруг как-то сразу у всех вырвались восклицания.

— Ах!

— Это поразительно.

— Бедняжка!

Кто-то коротко засмеялся.

Но затем все приступили к поэту с допросами, как он принял этот удивительный сюрприз.

На все вопросы он только ответил:

— Я положил эти стихи обратно в конверт, отослал ей, не прибавив ни звука к последнему — прости, и уехал в ту же ночь.

1910 г.